

АТРОФИЯ



SERENA KOSTA

18+

Serena Kosta

Атрофия

<https://litres.ru/74202894>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ева Стоун разгоняет байк до двухсот четырнадцати в час, потому что это единственное место, где ей не нужно ничего чувствовать.

Она — PR-консультант по кризисам, из тех, кого нанимают, когда всё уже рухнуло. Хладнокровная, точная, без права на ошибку. Свою собственную жизнь она построила по тому же принципу: ни одной трещины в броне, ни одного человека, к которому можно привязаться настолько, чтобы было больно, если он уйдёт.

Потом в Майами возвращается Марко.

Три года назад она сбежала от него посреди ночи — не потому что разлюбила, а потому что испугалась, насколько сильно способна нуждаться в одном человеке.

«Атрофия» — дарк-роман о женщине, которая всю жизнь выбирала скорость вместо близости и контроль вместо чувств, и о мужчине, чья одержимость ею не остыла за три года разлуки. Это книга о том, как учатся заново дышать те, кого никто никогда не держал.

Содержит сцены психологического и физического насилия, откровенный контент 18+, темы созависимости и детской травмы.

Содержание

Глава 1. 200 ♦	9
Глава 2. Правила ♦	25
Глава 3. Барселона была давно ♦	41
Глава 4. Ужин ♦	59
Глава 5. Кофе ♦	82
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Serena Kosta

Атрофия

АТРОФИЯ

роман

Serena Kosta

© 2026 Серена Коста. Все права защищены.

Ни одна часть этой книги не может быть воспроизведена, сохранена в системе

поиска данных или передана в любой форме или любыми средствами —

электронными, механическими, фотокопированием, записью или иными —

без предварительного письменного разрешения автора, за исключением кратких цитат в рецензиях и критических статьях.

Первое издание — 2026 год

Оформление обложки: Serena Kosta

Все персонажи и события в книге являются вымышленными.

Любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими,
а также с реальными событиями — случайно.

Человек не рождается пустым.

Его опустошают.

Но он может научиться снова наполнять себя.

Не чужим теплом. Не скоростью. Не работой.

А правдой. Своей.

*Даже если она — это только один шлем,
который ты застегнула сама.*

Serena Kosta, 2026

France, Toulouse

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ АВТОРА

Ева Стоун говорит от первого лица.

Это её голос, не мой.

Или мой. Я не скажу.

Эта книга содержит темы, которые могут задеть:

— эмоциональное насилие в детстве и пренебрежение со стороны родителя

— алкогольная зависимость в семье

— эмоциональная атрофия и трудности с привязанностью

- поиск адреналина как способ справиться с пустотой
- физическая рискованность как замена чувствам
- горе, которое не приходит вовремя
- потеря родителя без примирения

Здесь нет хэппи-энда в привычном смысле.

Здесь есть первый шаг.

Иногда этого достаточно.

Если что-то в этой книге окажется ближе, чем вы ожидали — это нормально.

Вы не обязаны читать дальше.

И вы не обязаны справляться одни.

ВЫ ГОТОВЫ?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. 200 ♦

Глава 2. Правила ♦

Глава 3. Барселона была давно ♦

Глава 4. Ужин ♦

Глава 5. Кофе ♦

Глава 6. Лиолеум ♦

Глава 7. Рита знает ♦

Глава 8. То, что нельзя отменить ♦

Глава 9. Чужая территория ♦

Глава 10. Когда не работает ♦

Глава 11. Обочина ♦

Глава 12. Без брони ♦

Глава 13. Уходишь, не уходя ♦

Глава 14. Толедо, четыре года назад ♦

Глава 15. Первой ♦

Глава 16. Магниты ♦

Глава 17. Я знал ♦

Глава 18. Жду ♦

Глава 19. Не знаю, есть ли у меня это ♦

Глава 20. 214 ♦

Глава 1. 200

Единственный момент, когда я жива — когда могу умереть.

Цифры на приборной панели застыли на отметке 214.

Я ловлю это значение краем глаза, на долю секунды, и снова смотрю вперёд — туда, где ксеноновый луч фары режет ночь надвое. Жёлтая разметка на такой скорости плавится, стекает в одну сплошную фосфоресцирующую струю, уходящую под колёса. Назад, в прошлое, которое я не собираюсь догонять. Ветер бьёт в шлем с такой силой, что шею жжёт от сопротивления, будто под кожу у затылка вдавливают раскалённую проволоку. Асфальт под нами меняет фактуру. Гладкий бетон моста сменяется рваными швами старого покрытия, и байк отзывается на каждый стык коротким, сухим толчком, который отдаётся прямо в тазовые кости. Где-то на дне живота просыпается тягучий инстинкт: зажмуриться. Отпустить руки. Поддаться этой ревущей стихии, позволить ей забрать то небольшое, что во мне ещё сопротивляется собственному распаду.

Я не закрываю глаза.

Я даже не моргаю.

Сквозь тонированное стекло мир обретает болезненную, почти хирургическую резкость. Каждая песчинка на асфаль-

те. Каждый блик от встречной фары, дробящийся в капле пота на визоре. Стив сидит впереди, хищно распластавшись по бензобаку, слившись с машиной в одно рычащее тело. Его широкая спина в толстой мотоциклетной коже принимает на себя основной удар ветра, служит мне живым, дышащим щитом, о котором он, разумеется, и не подозревает. Куртка на лопатках едва заметно подрагивает, и эта вибрация, мелкая, зудящая, механическая, транслируется в мои ладони, поднимается по запястьям, отдаётся где-то под ключицами. Я держусь за него. Пальцы до побеления костяшек вдавливаются в жёсткие складки на его талии, впиваются в кожу куртки так, что завтра там останутся синяки — не от страсти, от чистой инженерной необходимости. Метр пятьдесят девять роста и лёгкий вес не оставляют шансов на компромисс со стихией: разожму кисти хотя бы на миллиметр. Центробежная сила и стена воздуха слижут меня с сиденья, размажут по асфальту, и никто даже не заметит момента, когда это случится. Мимо, в противоположный ряд, проносится встречный трейлер, стена света и грохота, и его воздушная волна на секунду качает байк вбок, будто кто-то толкнул нас невидимой ладонью.

Двести четырнадцать километров в час.

Вот он. Тот самый зазор между секундой назад и секундой позже — щель во времени, куда можно провалиться целиком и не найти дна. Место, где в голове наступает стерильная тишина, которую я безуспешно пытаюсь купить бессонными

ночами, работой, чужими телами. Скорость выжигает мысли дотла, оставляет только пепел и ровный гул в костях. Мой внутренний вольтметр оживает только там, где цена ошибки — смерть. Ниже этого порога стрелка не двигается вовсе.

Перед съездом на прибрежную полосу Стив выравнивает спину и начинает затяжное торможение. Байк клюёт носом, тормозные колодки вгрызаются в раскалённые диски с тонким, почти музыкальным визгом, и цифры ползут вниз: 190, 160, 140, затем ленивые, будто нехотя, 110. Мир возвращает себе резкость иного рода — медленную, бытовую, ту, в которой снова приходится существовать. Справа, словно кто-то одним небрежным жестом швырнул горсть битого неона на чёрный бархат, начинает разворачиваться ночной Майами. Россыпь огней, маслянистый блеск воды залива и низкое небо, окрашенное городским смогом в грязный, воспалённый фиолетовый цвет. Час ночи, но жара не отступила. Она просто сменила агрегатное состояние, стала гуще, плотнее. Воздух липнет к визору плёнкой влаги, лезет в лёгкие, воняя солью, перегретым асфальтом и гниющими водорослями. Тем особым, тошнотворно-сладким запахом побережья, который я перестала замечать где-то на втором году жизни здесь. На встречной полосе патрульная машина лениво мигает синим без сирены. Кого-то уже остановили сегодня, но не нас.

Мы вкатываемся на полупустую парковку у набережной. Стив глушит мотор. Тишина наступает резко, оглушающе,

будто кто-то одним движением вырубил рубильник целого мира — слышно только потрескивание остывающего металла да редкий плеск воды о бетон. Он опирает байк на подножку и стягивает шлем размашистым, немного театральным жестом, будто снимает корону. У него породистый профиль: резкая линия челюсти, прямой нос, глубокая посадка тёмных глаз, чуть прищуренных после долгой скорости. Так выглядят мужчины, привыкшие к тому, что любое помещение, любая улица, любая парковка становится лишь декорацией для их присутствия. Он проводит рукой по влажным от пота волосам, точно зная, что этот жест кто-то оценит, и на запястье блестят массивные дайверские часы, которые он ни разу в жизни не опускал глубже бассейна отеля.

— Ну как, нормально? — он оборачивается, голос с хрипотцой после долгой езды, в нём — ожидание аплодисментов.

— Да, вполне, — отвечаю я.

Я расстёгиваю шлем, снимаю его неторопливым, отработанным движением, и влажные от пота волосы падают на плечи тяжёлой, тёплой волной. На моём лице не дрожит ни один мускул. Я знаю это наверняка — я слишком долго тренировала это лицо перед зеркалом, чтобы сомневаться в его надёжности.

Стив улыбается. В его улыбке слишком много собственного торжества, слишком много удовлетворения человека, который только что закрыл выгодную сделку. Он смот-

рит на меня так, словно преподнёс мне дорогой подарок и теперь ждёт, что я ахну от восторга. Будто эти двести сорок километров в час — его личная заслуга, щедрое подношение моей извращённой прихоти, которую он тщательно, по крупицам собирал последние месяцы. Он верит, что просчитал мои девиации не хуже, чем просчитывает свои контракты.

Он ошибается. Никто не знает, что происходит за моим фасадом — ни он, ни те, что были до него. Даже я сама иногда не знаю. Просто веду учёт симптомов.

Мы садимся на бетонный парапет. Вода у самого основания плещется о камни с ровным, убаюкивающим звуком, совершенно не соответствующим тому, что творится у меня внутри. Стив лезет в карман куртки, достаёт сигареты — мятую пачку, которую держит там скорее по привычке, чем по необходимости. Я молча протягиваю два пальца. Мне не нужен никотин, я никогда особо не курила по-настоящему. Мне нужно занять руки, заземлиться через мелкую моторику, щелчок зажигалки, первая затяжка, чтобы вернуться в тело после того, как оно летело сквозь ночь со скоростью падающего камня. Огонёк на секунду выхватывает его глаза из темноты. Тёмные, самодовольные, немного хищные. Где-то за спиной, у самой кромки воды, дважды коротко взлаивает чужая собака, и звук тонет в плеске волн так же быстро, как появился. Дальше по набережной, у закрытого на ночь киоска с мороженым, охранник в жилете медленно обходит тер-

риторию по кругу, светя фонариком под скамейки. Рутина, которая не имеет к нам никакого отношения и от того особенно успокаивает. Табачный дым медленно растворяется в липком воздухе, поднимается вверх, теряется в свете далёкого фонаря.

— Скажи честно, Ева. Ты испугалась там, на развязке?

Он наклоняется ближе, пытаюсь заглянуть мне под ресницы, будто там, в тени, спрятан ответ, который он так жаждет получить. Ему хочется увидеть трещину в моей броне — хоть одну, за которую можно было бы уцепиться.

— Нет, Стив.

— Вообще ни на секунду? Даже когда колесо переставило на мокром стыке?

— Совсем нет.

Он замирает. Сканирует моё лицо — медленно, дюйм за дюймом, как таможенник, ищущий контрабанду. Но там нет ничего. Мёртвая зона. Он откидывается назад, упирается локтями в парапет, и с полминуты просто курит молча, глядя не на меня, а куда-то в темноту воды. Верный признак того, что ответ его не устроил, но он ещё не решил, как зайти с другой стороны. И именно эта подлинность моего равнодушия сбивает его с толку сильнее, чем любая ложь. Он ждёт страха. Маркера того, что тебе есть что терять. У меня этот предохранитель вырван с корнем много лет назад. Когда байк заскользил на мокром асфальте, я просто зафиксировала факт перемещения тела в пространстве. С тем же холод-

ным интересом, с каким наблюдала бы за падением стакана.

Стив затягивается, выпускает дым через ноздри, жест, отработанный годами, и начинает рассказывать о бизнесе: какой-то контракт, клиент из Бостона, коммерческая недвижимость на северном побережье, юридическая заминка с землеотводом. Я отключаю смысл, как отключают звук у телевизора, оставляя только картинку. Оцениваю только тембр, интонацию, ритм. У Стива глубокий баритон, поставленный, уверенный — голос человека, привыкшего, что его слушают до конца, потому что иначе просто не бывает. Одна фраза всё же цепляется, «этот идиот из Бостона хочет неустойку прописать так, будто я вчера родился», и я киваю в нужном месте чисто механически, зная по интонации, что здесь ждут именно кивка, а не ответа.

Мой взгляд скользит по горизонту и цепляется за красный огонёк вдалеке. Навигационный буй. Вспыхивает и гаснет. Ритмично. Неотвратно. Между вспышками — ровно столько темноты, что можно было бы сверять по нему часы, если бы кто-то потрудились засечь интервал.

Я начинаю считать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пока идёт счёт, мир остаётся управляемым.

— Ева, — голос Стива становится жёстче, теряет светскую расслабленность. — Ты вообще со мной сейчас?

— Да, — я поворачиваю голову, отпускаю буй из фокуса внимания без сожаления. — Бостон, несговорчивый инвестор, площади на севере, проблемы с юридической очист-

кой. Я слушаю, Стив.

Он смеётся и качает головой — его фирменная реакция, отработанная на десятках женщин до меня. «Ты невыносима, но именно это делает тебя привлекательным трофеем». Ему льстит мысль, что он имеет дело со сложной женщиной, с загадкой. Я не разрушаю его иллюзии. Зачем. Они удобны нам обоим, каждому по своей причине.

Ближе к двум мы добираемся до моего дома.

Квартира на двенадцатом этаже. Стекло и бетон, панорамный вид на залив, за который агент по недвижимости содрал с меня совершенно неприличную наценку. Я арендую это место три года, но каждый раз, переступая порог, чувствую себя в дорогом, безликом номере отеля — в месте, которое можно покинуть за двадцать минут, не оставив ни единого следа своего присутствия. Кожаный диван куплен за пять минут через каталог. Просто чтобы было на чём сидеть. Обеденный стол холоден и пуст, будто витрина мебельного салона. На кухонной стойке. Ноутбук, закрытый, и стакан вчерашней воды с обмякшим ломтиком лимона на дне. У входной двери. Пара кроссовок, ни разу не надёванных с зимы, коробка от них так и стоит в шкафу, потому что бегать по утрам оказалось очередной идеей, которая не прижилась дольше недели. На дверце холодильника висят семь магнитов: не как дань воспоминаниям, а просто потому, что их нужно было куда-то деть, а холодильник — самое очевидное место.

Стив знает этот интерьер до мельчайших деталей — он был здесь десятки раз. Но каждый раз, когда он входит, его цепкий, профессионально натренированный взгляд юриста сканирует поверхности заново, будто надеется, что за это время что-то изменилось. Он ищет что-то, что выдаст моё истинное «я». Старую фотографию, забытую записку, сувенир. Но квартира стерильна, как операционная. Здесь нет зацепок. Никогда не было и не будет.

Он как-то спросил, почему на стенах нет фотографий из поездок — тридцать две страны, а на стенах ни единого кадра. Я ответила: «Терпеть не могу визуальный мусор». Он кивнул, изобразил понимание, но в его глазах я прочитала недоверие. То самое, привычное недоверие людей, которые чувствуют ложь кожей, но не могут её доказать. Я не фотографирую, потому что память для меня. Не архив, куда можно заглянуть в тёплый вечер с бокалом вина. Это заминированное поле, по которому я хожу с крайней осторожностью, стараясь не наступить на то, что взорвётся.

Сейчас я стою у панорамного окна, глядя на далёкие огни, дробящиеся в неровном стекле. Стив подходит со спины — бесшумно для такого крупного мужчины, он всегда умел двигаться тихо, когда хотел. Его руки, тяжёлые, горячие, широкие, ложатся на мою талию, притягивают меня к себе, вжимают спиной в его грудь. Он опускает подбородок на моё плечо, и я чувствую, как от него пахнет табаком, потом и чем-то сладковато-древесным — его обычным парфю-

мом, к которому я давно привыкла.

— Потрясающий вид, — его дыхание обжигает шею, оседает влажным теплом чуть ниже уха.

— Да. Красиво, — отвечаю я, и голос звучит ровно, гладко, без единой зацепки.

Его пальцы сжимаются грубее, фиксируют моё тело в пространстве этой комнаты, этого окна, этой ночи. Чужая, давящая сила, которая ещё секунду назад казалась просто теплом, а теперь превращается во что-то иное.

И в эту секунду внутри меня что-то ломается. Тихо, без звука, как трескается лёд под тяжестью, которую он давно не мог выдержать.

Это не тот страх, что можно объяснить словами. Хватка на талии, плотная, властная, без спроса, и по позвоночнику прокатывается что-то, чему нет названия, что-то старше этого разговора, старше этой квартиры, этого мужчины. Майами за стеклом начинает плыть, таять, терять контуры, будто кто-то смазал объектив вазелином.

Хватка на талии. Плотная. Без спроса. Вывернутое плечо. Кто-то держит слишком крепко, слишком долго. Жёлтый свет голой лампы. Запах перегара и горелого лука, впитавшийся в стены навсегда. Удар по скуле, плоский звук, как хлопнувшая книга. Голова уходит вбок. Ухо звенит одной длинной нотой. Не плакать. Плач продлевает всё минимум вдвое. Ледяная штукатурка под лопатками. За стеной бубнит телевизор, фон, который никто не выключает годами. Рука

с сигаретой, которая не дрожит. Только это почему-то и запомнилось лучше всего — насколько ровной может быть рука сразу после.

Кадр сменился.

Я снова на двенадцатом этаже. Стив дышит мне в затылок, всё так же спокойно, не подозревая ни о чём — он даже не сбился с ритма, продолжает мягко покачивать нас обоих, будто танцует под музыку, которую слышит только он. По позвоночнику прокатывается волна ледяного пота, оседает между лопаток мелкими каплями, но внешне я остаюсь монолитом. Ни один мускул не дрогнул.

Мне нужно перебить это. Сейчас же.

Я разворачиваюсь резко, почти рывком. В моих глазах нет страсти — только чёрная, слепая потребность выжить, вытолкнуть чужие руки собственными действиями. Я впиваюсь пальцами в его волосы, притягиваю к себе с силой, которая удивила бы меня саму. Его реакция мгновенна. Тело реагирует быстрее разума. Рот Стива обрушивается на мои губы. Грубо, жадно, с готовностью, которая была в нём заложена с самого начала этой ночи. Он думает, что это страсть, что я наконец сломалась под его напором. Пусть думает. Мне так проще.

Я не закрываю глаза. Я отвечаю с той же яростью, кусаю его до привкуса металла на языке. Его руки срываются с моей талии, задирают топ, царапают кожу на спине, не больно, но ощутимо, реально, здесь и сейчас. Мы не идём в спальню,

до неё слишком далеко, а мне нужно немедленно. Он толкает меня к стеклу. Холод обжигает лопатки сквозь тонкую ткань, а от нашего дыхания стекло у самых губ покрывается тонким туманным пятном, которое тут же расплзается шире. Его тело вжимает меня в окно, лишая путей к отступлению, и где-то на периферии сознания мелькает мысль, что с этой высоты, за этим стеклом. Весь Майами, тысячи чужих окон, и никто из них не видит, что происходит здесь, за моим собственным.

В этом нет любви. В этом нет даже настоящего желания. Это схватка двух эго, помноженная на мою личную, отчаянную необходимость доказать себе, что я контролирую хоть что-то в этой комнате. Каждый толчок выбивает остатки прошлого из сознания, как выбивают пыль из старого ковра. Я впиваюсь ногтями в его плечи, ищу спасения в физиологии, которая накрывает с головой, оглушает не хуже той скорости на шоссе. Кожа трётся о кожу. Запах его пота смешивается с одеколоном, перекрывая тот, другой запах — из воспоминаний, из прогорклой кухни, из чужих рук. Я использую его тело, методично, почти хирургически, чтобы вернуться в реальность. Чтобы доказать себе, что я жива. Что это моё тело, а не чьё-то ещё.

Когда всё заканчивается, он тяжело дышит, наваливаясь на меня всем весом, довольный, обмякший, ничего не подозревающий. Я смотрю поверх его плеча на огни Майами — на ту самую картинку, что минуту назад плыла и таяла, а те-

перь снова стоит на месте, ровная, неподвижная, безопасная. Морок ушёл. Хотя бы на сегодня.

Он уезжает около трёх. Молча собирается: рубашка, ремень, ключи со связки на зеркальной полке, которую он же сам когда-то и придумал повесить у двери, чтобы не рыться в карманах. Перед выходом привычно проверяет телефон. Не столько из необходимости, сколько по рефлексу человека, который никогда по-настоящему не выключается из работы. Я не предлагаю ему остаться, а он и не ждёт этого предложения. На пороге он на секунду задерживается, целует меня, коротко, в угол губ, без особого чувства, просто потому что так положено, и этот жест настолько отработан, что кажется частью его костюма, таким же, как галстук. Мы оба знаем регламент, выверенный за полгода до автоматизма: никакого общего быта, никакой утренней уязвимости, никаких заспанных лиц над одной чашкой кофе.

Замок щёлкает сухо, окончательно, как точка в конце предложения. Я остаюсь стоять в темноте прихожей. Минуту. Две. Пять. Просто стою, слушая, как тишина затекает в квартиру, заполняя все углы, оставленные его присутствием.

Внутренняя диагностика. Что осталось после этого вечера? В ушах ещё стоит низкий гул ветра — эхо, не желающее затихать. Мышцы горят после грубого секса, приятной, честной болью, не требующей интерпретации. На коже ключиц. Тонкий шлейф его парфюма. И больше ничего. Прямая линия, которую в любом другом контексте назвали бы смертью.

Я иду в ванную. Включаю душ, почти кипяток, на грани того, что способна выдержать кожа. Стою под обжигающими струями, пока кожа не покрывается красными пятнами, пока пар не заполняет всю комнату густым облаком, а зеркало над раковиной не затягивается сплошной белёсой плёнкой. Плитка под ногами гладкая, тёплая от пара, совсем не тот холод, что до сих пор помнят лопатки. Горячая вода. Единственный чистый физический раздражитель, который работает напрямую с нервными окончаниями. Кожа чувствует. Значит, где-то там внутри ещё теплится живое.

Позже, в темноте спальни, я лежу и смотрю в потолок. Белый. Ровный. Без единой трещины, за которую мог бы зацепиться взгляд. По нему пробегают редкие блики от фар проезжающих внизу машин — короткие вспышки света, скользкие и исчезающие, как мысли, которые я не позволяю себе додумывать.

214 км/ч. Там, на шоссе, формула сработала, коротко, но безупречно. Я закрываю глаза, пытаюсь воскресить то ощущение изнутри памяти: напор ветра, рёв трубы, балансирование на самой грани, где нет ни прошлого, ни будущего. Только настоящее, острое, как лезвие.

Но внутри уже пусто. Ощущения не подлежат консервации. Как только нога касается тормоза — они исчезают безвозвратно, оставляя после себя только память о том, что они были.

Мне тридцать четыре. Деньги, квартира с видом, за ко-

торый другие готовы убить, работа, которую я делаю лучше почти всех вокруг. Мужчина, который сегодня впервые попытался прочесть меня насквозь, и не сумел. Тридцать две страны, четыре языка, переговоры, после которых противники сами предлагают свои условия. Диплом в рамке, который я так и не повесила на стену. Он третий год стоит лицом к обоям в шкафу в прихожей. Весь набор. Все галочки в анкете.

И единственное, что хоть на секунду пробивает эту анестезию, — двести четырнадцать километров в час на пустом шоссе. Или чужое тело, которому всё равно, кто я и откуда. Остальное. Приложение к резюме, которое никто не читает дальше первой строки.

Я встаю, подхожу к двери спальни и без единой мысли, чисто механически, проверяю замок, повернут ли до конца, хотя знаю, что проверяла его час назад, когда провожала Стива. По пути обратно останавливаюсь у балконной двери и трогаю ручку — заперта. Возвращаюсь в постель. Поправляю подушку так, чтобы шов не давил под щекой, кладу телефон экраном вниз на расстоянии вытянутой руки. Привычное место, всегда одно и то же. Мелкие, бессмысленные действия, которые ничего не решают, но занимают руки ровно настолько, чтобы голова перестала искать, за что зацепиться.

Я засыпаю под утро, когда за окном небо только начинает терять свою непроглядную черноту. Снов нет. Или моя память снова делает свою привычную работу — стирает их

дочиста, прежде чем я успеваю открыть глаза и хоть что-то запомнить.

Глава 2. Правила

Внутренний таймер, вшитый куда-то глубоко в подкорку, срабатывает ровно в восемь. Без вибрации смартфона, без навязчивых мелодий, без будильника, купленного специально для того, чтобы имитировать звук прибора, моё тело просто решает само, без консультаций со мной, что лимит безопасного забытья на сегодня исчерпан, и грубо, без предупреждения выталкивает меня в реальность, как выталкивают непрошеного гостя за порог.

Несколько минут я лежу абсолютно неподвижно, уставившись в безупречно белую, мёртвую плоскость потолка, будто жду от него хоть какого-то знака. Провожу привычный утренний чек-ап, сканируя внутреннее пространство слой за слоем, как антивирус, который проверяет систему на вторжения ещё до того, как она успела проснуться окончательно. В квартире звенящая тишина, та особая, плотная тишина дорогих домов, где даже воздух кажется отфильтрованным от лишних звуков. Кондиционер мерно выплёвывает порции ледяного воздуха, ровно, без сбоев, как метроном. В груди не давит. Пульс ровный. Обычное, стерильное утро, ничем не отличающееся от сотен предыдущих. Я сбрасываю шёлковую простыню и опускаю босые ноги на холодный паркет, чувствуя, как дерево забирает тепло из пяток, возвращая ме-

ня в тело окончательно.

Приготовление кофе — единственный ритуал, который я сознательно сохранила со времен своей жалкой, провальной попытки сыграть в нормальность. Никаких капсульных кофемашин с их бездушным пластиковым жужжанием, никакого одноразового, стерильного удобства. Только старая, тяжёлая медная турка, доставшаяся мне неизвестно от кого и купленная на блошином рынке от скуки, живой огонь газовой конфорки и тотальный ручной контроль над каждой секундой процесса. Когда-то давно один переоцененный мозгоправ в Нью-Йорке, с кабинетом на Парк-авеню и голосом, поставленным для успокоения богатых истеричек, уверял меня, что если методично совершать заземляющие действия, внутренний хаос структурируется сам собой. Я честно пыталась, потому что тогда ещё верила, что можно купить себе внутренний порядок за достаточную сумму денег и достаточное количество усилий: маниакально вычищала углы в квартире зубной щёткой, бегала до кровавых мозолей на пятках, составляла списки дел на пять лет вперёд. Хаос никуда не делся. Он просто научился прятаться глубже, за-таиваться, ждать своего часа под слоем моей идеальной организованности. Но привычку к турке я оставила себе. Как трофеем, как единственную выжившую деталь того эксперимента. Мне до одури нравится этот короткий момент абсолютного фокуса, когда нужно поймать ту самую долю секунды, прежде чем плотная коричневая пена перешагнёт через

узкое горячее горлышко и убежит на плиту. Контроль над кипением. Пусть маленький, пусть смешной, но настоящий, осязаемый контроль — единственный, который я согласна признавать честным.

С обжигающей чашкой в руке я выхожу на балкон. Девяти утра ещё нет, но тяжёлая, влажная жара уже наваливается на Майами всем своим весом, прижимая город к воде, будто хочет вдавить его обратно в океан, откуда он когда-то вырос. Воздух здесь пахнет странно, но кристально честно: густой, липкий коктейль из солёной морской гнили, приторных магнолий и ядовитых выхлопов с забитого с самого утра Брикелл-авеню. Эта смесь не пытается казаться деликатной, не притворяется парфюмом из бутика — она просто констатирует факт своего существования, грубо и прямо. За это я её уважаю. Хотела бы я иметь право на такую же откровенность.

Мой бизнес — это продажа иллюзий под видом правды. Визитка гласит скромно, почти монашески: «Консультант по кризисным корпоративным коммуникациям». Но если содрать эту тонкую, глянцевую шелуху, обнажится куда более грязная механика: крупные холдинги приползают ко мне тогда, когда их репутация начинает смердеть на всю страну, когда федеральные каналы уже облизываются на их скандал, и нужно срочно, за одну ночь переписать реальность до того, как её сожрут окончательно. Я чертовски хороша в этом. Возможно, лучшая в своём радиусе. Пока другие консуль-

танты просчитывают финансовые риски по таблицам, я препарирую человеческие пороки и страхи голыми руками, без анестезии. Я знаю, почему толпа выбирает верить одним подонкам на слово и с плотоядным наслаждением распинает других за куда меньшие грехи. У меня нет эмпатии, которая могла бы затуманить оптику, замедлить реакцию,. И именно за эту ледяную точность клиенты готовы выписывать чеки с шестью нулями, даже не торгуясь.

Первая встреча в одиннадцать: крупный фармацевтический концерн умудрился слить в сеть протоколы клинических испытаний, и теперь совет директоров бьётся в предынфарктном состоянии, обзванивая друг друга среди ночи. Рутинная, дорогая грязь, таких дел у меня десятки за карьеру, и все они пахнут одинаково.

Экран смартфона на стеклянном столике коротко вспыхивает в 08:32, выхватывая из полумрака узкую полосу света. Я фиксирую это движение боковым зрением, не поворачивая головы, делая очередной глоток густой, почти чёрной лавацца.

«Доброе утро».

Всего два слова на сером фоне мессенджера. Стив.

Я не прикасаюсь к аппарату. Я смотрю на эти пиксели поверх края чашки, физически ощущая, как внутри, царапая рёбра изнутри, поднимается глухое, тёмное раздражение — то самое, что появляется, когда кто-то без спроса переставляет мебель в твоей квартире.

За те полгода, что мы делим простыни и ночное шоссе, Стив ни разу не позволял себе писать мне по утрам. У нас существовал железобетонный регламент, выстроенный без единого слова, но соблюдаемый неукоснительно: сухие координаты по делу. Где, во сколько, у кого ночуем. Никаких прелюдий, никакого «доброе утро» или «как спалось», никаких шлейфов из обязательств на следующий день, которые тянутся, как невидимая леска, привязывая одного к другому. Это работало как швейцарские часы, надёжно, точно, без сбоев. Но это внезапное «доброе утро». Вторжение, тихое, но безошибочно узнаваемое. Попытка просунуть ногу в закрывающуюся дверь прежде, чем она захлопнется окончательно. Я ставлю чашку на блюдце чуть резче, чем нужно, и фарфор коротко звякает, единственный внешний след того, что происходит внутри.

Я неторопливо допиваю остывающий, горький осадок на дне чашки, принимаю ледяной душ, от которого кожа мгновенно покрывается мурашками, и собираю броню, деталь за деталью, как собирают доспехи перед выходом на арену: хрустящая белая рубашка, наглухо застёгнутая на все пуговицы до самого горла, идеально скроенные тёмные брюки, подчёркивающие хищную линию бёдер, и шпильки, превращающие мой шаг в угрозу для любого, кто окажется у меня на пути. В зеркале прихожей отражается безупречный механизм — дорогая, холёная сука с непроницаемым лицом, ни одна деталь которой не выдаёт того, что происходило внутри неё этой

ночью и продолжает происходить сейчас.

Только перед самым выходом я беру телефон и вбиваю: «Привет». Ни смайлов. Ни точек, ни восклицательных знаков. Одно моё слово против его двух, арифметика, в которой я всегда выигрываю. Я переворачиваю телефон экраном вниз на столике, будто закрываю крышку ящика. Дистанция восстановлена. Хотя бы на бумаге.

Переговорная фармгиганта воняет озоном от работающей на пределе системы вентиляции, страхом и дорогим сандаловым парфюмом, который явно призван замаскировать первое. Встреча напоминает вязкую, изнурительную пытку, растянутую на долгие, липкие минуты. Клиент — Роберт Кейн, вице-президент. Мужчина за пятьдесят с идеальной сединой, которую наверняка подкрашивает раз в три недели, и галстуком по цене хорошего мотоцикла. Его выдают руки: он потеет, слишком часто дёргает платиновые запонки, будто те жмут, и крутит тяжёлую перьевую ручку между пальцами, словно спасательный круг, за который цепляется тонущий. Справа сидит его цербер — глава юротдела. Сухая стерва со стрижкой каре, безупречной до миллиметра, которая смотрит на меня сквозь тонкую оправу очков так, словно я пришла грабить их пенсионный фонд, а не спасать их шкуры.

Они полчаса размазывают дерьмо по полированному столу, вуалируя катастрофу медицинскими терминами, за которыми прячется одна простая правда. Какой-то репортёр из Miami Herald вскрыл факт: третья фаза испытаний их анти-

депрессанта спровоцировала серию суицидов в фокус-группе. Данные подчистили, грубо, второпях, оставив швы, которые видны невооружённым глазом любому профессионалу.

— Результаты не совсем... коррелировали с первоначальным протоколом, — Кейн тяжело сглатывает, его кадык дёргается вверх-вниз, как поплавок. Юристка тут же открывает рот, чтобы перехватить инициативу очередной обтекаемой фразой, отточенной юридическим отделом, но я не даю ей шанса.

Я молчу. Просто смотрю на Кейна в упор, не моргая. Секунда. Десять. Тридцать. Я позволяю паузе стать настолько плотной и невыносимой, что в комнате, кажется, начинает звенеть воздух, физически давить на барабанные перепонки. Этот трус солгал мне дважды за последние пять минут, и оба раза я это зафиксировала без малейшего усилия. Он утаил критические факты, по привычке, по инстинкту самосохранения, но его эго всё ещё требует, чтобы я, несмотря на его ложь, сотворила чудо голыми руками.

— Какова ваша конечная цель, Роберт? — мой голос звучит обманчиво мягко, почти по-матерински участливо, но в нём отчётливо лязгает сталь под тонкой обёрткой. — Чего конкретно вы хотите от меня?

— Я хочу, чтобы это расследование никогда не увидело свет. Чтобы газета его похоронила, — он подаётся вперёд, почти нависая над столом. Под его глазами залегли серые тени застарелой паники, которая копилась, судя по всему, не

одну неделю.

— Труп уже дышит, Роберт. Похоронить его невозможно, — я медленно откидываюсь на спинку кресла, скрещивая руки на груди с той нарочитой ленцой, которая всегда действует на клиентов сильнее любых угроз. — Вопрос лишь в том, кто именно будет его расчленять для публики: вы сами, аккуратно и на своих условиях, или журналисты, с наслаждением и на потеху всей стране. Нам не нужно блокировать статью — это невозможно, и вы это знаете не хуже меня. Нам нужно бросить толпе кусок мяса посочнее, чтобы они отвлеклись от ваших кривых протоколов хотя бы на несколько дней. Это решаемо. Но потребует от вас крови. И нескольких крайне уродливых решений, к которым вы, судя по вашему лицу, пока не готовы.

— Каких именно решений? — юристка сжимает карандаш с такой силой, что суставы пальцев проступают под кожей, а сам карандаш едва слышно поскрипывает.

— Об этом мы поговорим, когда вы перестанете мне врать. Завтра. В это же время.

Я закрываю блокнот с сухим, аккуратным щелчком, будто ставлю точку в приговоре. Я никогда не выкладываю карты в первом раунде — это базовое правило моей профессии, выстраданное годами. Клиент должен провести ночь наедине со своим ужасом, захлебнуться в собственной беспомощности до самого дна и приползти ко мне на следующий день готовым на любые условия, потому что альтернатива, полное

уничтожение, станет к тому моменту куда более пугающей, чем любая моя цена.

В час дня я сижу в кондиционированном полумраке кафе на Брикелл, где официанты двигаются бесшумно, а свет намеренно приглушён, чтобы посетители чувствовали себя укрытыми от чужих глаз. На тарелке сохнет нетронутый сэндвич, я заказала его скорее по инерции, чем от голода. На столе снова вибрирует телефон, коротко, требовательно.

Стив.

«Сегодня вечером есть планы?»

Я зависаю над экраном на несколько секунд дольше, чем следовало бы. Моё тело ещё помнит тяжесть его бёдер прошлой ночью, а на ключицах до сих пор мерещится запах его одеколona, въевшийся в кожу глубже, чем должен был бы. По нашим правилам мы никогда не спим два дня подряд — это одно из немногих правил, которые мы оба соблюдали свято. Но внутри Стива явно сорвало резьбу, и происходит это не в первый раз за последнюю неделю. Ему стало мало моего тела. Он захотел залезть мне в голову, занять моё время сверх положенного лимита, получить эксклюзивный доступ к объекту, который методично, изо дня в день отказывается подчиняться дрессировке.

Мне это категорически не нравится. Как только мужчина начинает метить ментальную территорию, не постель, не график, а именно голову, у меня остаётся два выхода: капитулировать или жёстко, без сантиментов ударить по рукам.

Я выбираю привычное. Быстро набиваю:

«Работа до ночи. Пятница».

Нажимаю «отправить» и откладываю телефон экраном вниз, возвращаясь к остывшему сэндвичу, к которому так и не притрагиваюсь. Ответ прилетает через двенадцать минут, слишком долго для мгновенной реакции и слишком коротко, чтобы быть случайной задержкой:

«Окей. Пятница»

Без точки. Я смотрю на пустое пространство после последней буквы и почти осязаю, физически чувствую, как на другом конце города скрипит его уязвлённая мужская гордость, как он держит телефон в руке чуть дольше необходимого, прежде чем убрать в карман.

В восемь вечера я уже стою в душном, пропахшем въевшимся потом, канифолью и старой кожей зале, где под потолком лениво крутятся вентиляторы, гоняя горячий воздух туда-сюда, не охлаждая его ни на градус. Бокс — это моя легальная форма саморазрушения, санкционированная обществом, оплаченная как абонемент. Трижды в неделю. Без поблажек, без скидок на усталость или плохое настроение. Мой тренер Дэниел, огромный, с перебитым в трёх местах носом и кулаками размером с пивную кружку, идеален именно своей немотой. Он никогда не лезет в душу, никогда не спрашивает, что случилось, почему я быю так, будто хочу проломить мешок насквозь. Он просто держит лапы и бьёт в ответ, ровно настолько сильно, чтобы напомнить мне, что я смертна.

После получаса яростной, выматывающей работы на мешке, когда футболка уже прилипла к спине, а лёгкие горят, Дэниел коротко кивает на ринг:

— Карла. Три раунда.

Карла тяжелее меня на десять килограммов чистых мышц, наработанных годами, а не абонементом. Она работает от глухой защиты, скупое, экономно, но имеет скверную, хорошо мне известную привычку взрываться пулемётными сериями именно в тот момент, когда ты решаешь, что она выдохлась и позволяешь себе на долю секунды расслабиться.

В середине второго раунда я совершаю недопустимую, детскую ошибку. Заваливаюсь вперёд после длинного джеба, теряя равновесие, раскрывая левый бок на долю секунды дольше положенного. Карла не прощает такие подарки. Она резко ныряет под мою руку, и её перчатка с глухим, тошнотворным хрустом впечатывается мне прямо под рёбра — туда, где нет мышечной защиты, только кожа и кость.

Удар плотный. Сухой. Идеальный, будто из учебника.

Из лёгких со свистом выбивает весь кислород разом. Перед глазами на секунду взрывается чёрно-белая сверхновая, комната кренится и плывёт, а бок прошивает острая, пульсирующая, ослепительная боль, растекающаяся вверх, к ключице, и вниз, к бедру.

И именно в это мгновение моя парализованная нервная система наконец-то выдаёт чистый, беспримесный отклик. Боль работает безупречно, единственный сигнал в этом пла-

стиковом, отфильтрованном мире, который не нуждается в интерпретации, не содержит двойного дна, манипуляций или лжи. Есть чужой кулак, есть смятые ткани моего тела, есть чистый, звенящий импульс, летящий в мозг быстрее мысли. Я дышу этой болью, вбираю её жадно, как воздух после долгого нырка.

Я ухожу на дистанцию, сплёвываю вязкую слюну через капу и начинаю резать углы с безжалостной, холодной яростью, отыгрываясь на воздухе за собственную секундную слабость.

Ледяной душ в пустой раздевалке смывает пот и остатки адреналина. Влажный, как горячее полотенце, ночной воздух Майами обволакивает меня на парковке, липнет к коже, едва я выхожу за дверь. Я подхожу к машине, достаю телефон из сумки, и замираю на месте, не донеся руку до ручки двери.

Один пропущенный вызов. Слава богу, не Стив.

На чёрном экране горит комбинация цифр с испанским кодом (+34).

Я никогда не сохраняла его в контакты, сознательно, принципиально, но мой мозг узнаёт этот номер быстрее, чем лёгкие успевают сделать очередной вдох, быстрее, чем я успеваю выстроить хоть какую-то защиту.

Я стою у водительской двери, не нажимая на кнопку брелока, будто разучилась пользоваться собственными руками. Восемь бесконечных, оглушительных секунд я просто гипнотизирую эти цифры на экране, не в силах отвести взгляд.

Внутри, глубоко под рёбрами, там, где всего полчаса назад пульсировал сухой удар Карлы, начинает зарождаться совершенно другой, куда более ядовитый вид боли. Фантомный, старый, никогда не заживавший до конца.

Марко.

Он не объявлялся ровно восемь месяцев. Я знаю эту цифру наизусть, как знают дату собственного рождения, хотя никогда не признавалась себе, что веду счёт. Восемь месяцев абсолютной, стерильной тишины, которую я так старательно выдавала за облегчение.

Он ворвался в мою жизнь три года назад в дождливой, серой Барселоне, городе, который я выбрала именно за его равнодушие к чужим драмам. Смуглый, резкий, с глазами цвета чёрного кофе без единой капли молока и повадками породистого хищника, которому лень скрывать свою природу. От него пахло тёмным табаком, влажным асфальтом после дождя и той редкой, экзистенциальной угрозой, от которой нормальные, здоровые женщины бегут без оглядки, инстинктивно, ещё до того, как успевают понять почему. Те, кто искренне верят в чистоту своих разрушительных мотивов,. Самые страшные люди на свете. Они прут напролом, не замечая, что выжигают всё живое на своём пути, включая себя самих.

Я продержалась рядом с ним семь месяцев. Для моей психики, привыкшей менять города и постели быстрее, чем меняются сезоны, это была вечность, целая геологическая эра.

Я до сих пор отказываюсь подбирать слова для того, что происходило между нами за закрытыми дверями его квартиры в Готическом квартале, среди старых каменных стен, помнящих куда более долгую историю, чем наша. «Любовь» звучит слишком пошло, слишком по-девичьи, для того, что нас связывало. «Страсть» — слишком плоско, слишком одномерно. Это было тотальное, грязное, взаимное поглощение, в котором невозможно было понять, где заканчивается один и начинается другой.

Рядом с ним моя многолетняя, тщательно выстроенная броня трескала и осыпалась кусками, будто была сделана не из стали, а из старой штукатурки. Я помню его тяжёлые руки на моих бёдрах, помню, как его зубы впивались в мою шею, заставляя выгибаться до хруста в позвоночнике, до той грани, где боль и наслаждение перестают быть противоположностями. Он не занимался со мной любовью в том смысле, в котором это принято понимать, он вскрывал меня методично, слой за слоем, подчинял, вытаскивая наружу ту тёмную, животную часть меня, которую я так тщательно прятала под костюмами и правильными фразами. Только в его постели, задыхаясь от его запаха и боли, перетекающей в невыносимое, почти пугающее удовольствие, я чувствовала себя по-настоящему живой. Без мотоциклов. Без скорости на пустом шоссе. Мне нужен был только он. И это осознание пугало меня больше самой боли.

И именно поэтому я сбежала.

Я собрала один чемодан посреди ночи, пока он спал, измотанный нашей очередной ночной битвой, которая оставила синяки в форме его пальцев на моих бёдрах. Выключила телефон, оставила ключи и пустой стакан на кухонном столе и улетела на другой континент первым же утренним рейсом. Потому что зависимость — это смерть, медленная, но неотвратимая. Когда ты понимаешь, что чужие руки на твоём горле стали тебе жизненно необходимы, чтобы дышать.. Ты теряешь контроль над собственным существованием. А для меня это равносильно самоубийству, только растянутому во времени.

Я медленно убираю телефон в карман, будто он может обжечь, сажусь за руль и завожу двигатель, слушая его ровный, успокаивающий гул.

Дома я не включаю свет. Я оставляю туфли в коридоре, как всегда, и босиком подхожу к панорамному окну, чувствуя прохладу паркета под ногами. Ночной город внизу пульсирует неоновыми венами, живёт своей отдельной, равнодушной ко мне жизнью. На горизонте, над чёрной водой залива, привычно мигает красный навигационный буй, тот самый, который я разглядывала со Стивом на набережной прошлой ночью, целую вечность назад.

Один. Два. Три.

Смартфон лежит в моей ладони, обжигая кожу холодом металла, будто вобрал в себя весь холод квартиры. Испанские цифры всё ещё тускло светятся в журнале вызовов, до-

жидаясь моего решения. Одно нажатие. Всего один свайп, чтобы услышать его низкий, чуть хриплый голос, от которого у меня до сих пор, спустя три года, сводит низ живота — рефлекс, который я так и не сумела вытравить из тела.

Я никогда не возвращаюсь туда, где была слабой. Это правило я вывела для себя давно и не нарушала его ни разу.

Я просто стою в темноте двенадцатого этажа, до побеления костяшек сжимая телефон, и чувствую, как сквозь пальцы утекают секунды одна за другой, безвозвратно. Это почти ничего не значит, убеждаю я себя. Просто цифры на экране. Просто старый номер, который давно пора удалить из памяти.

Почти.

Глава 3. Барселона была давно

Пятница заявляет о себе в привычном, ровном ключе, не предвещающем никаких тектонических сдвигов в моей идеально выстроенной рутине — обычный день, аккуратно расчерченный на слоты, как чужая жизнь на графике эффективности. Всё те же утренние ритуалы: медная джезва на плите, шипящая тихим, знакомым голосом, обжигающий первый глоток на балконе, обжигающий именно настолько, чтобы напомнить о существовании нёба, и тяжёлая, маслянистая жара, которая уже к девяти часам утра намертво закуривает улицы Майами, превращая воздух в густой влажный саван, липнувший к коже сквозь ткань блузки.

Я лениво просматриваю рабочую почту на планшете, скользя большим пальцем по экрану с той автоматической скоростью, которая позволяет читать и не читать одновременно, отправляю два выверенных, ледяных по тону ответа на панические запросы застройщика из Атланты, он третью неделю пишет мне так, будто небо вот-вот упадёт ему на голову, и долго смотрю на ослепительный блеск залива, на котором сегодня особенно много бликов, будто вода нарочно старается ослепить город. Мой день расписан по минутам, вплоть до туалетных пауз, если бы кто-то потребовал такой детализации. Стив в этом графике занимает строго опреде-

лѐнный вечерний слот, отгороженный со всех сторон, как карантинная зона. Я с точностью до четверти часа знаю, когда именно его уязвлѐнное эго заставит его прислать координационное сообщение, и у меня уже готова безопасная, выжженная модель нашего диалога, отрепетированная настолько, что можно было бы разыграть её с закрытыми глазами. Ходы просчитаны, контуры обороны монолитны. Так было всегда. Так, по крайней мере, я думаю сейчас, глядя на воду.

Однако в одиннадцать тридцать на экране смартфона высвечивается имя Риты, нарушая стройное течение моих мыслей коротким, требовательным жужжанием.

Рита — единственный человек в этом неоновом мегаполисе, к которому я применяю термин «подруга», хотя мы обе прекрасно понимаем условность этого ярлыка, слишком мягкого для того, что на самом деле связывает нас. Наша связь держится не на девичьих секретах или эмоциональной близости, не на совместных бокалах вина под откровения до трёх ночи, а на редком, обоюдном умении соблюдать чужие границы, не прощупывая их лишний раз без надобности. Будучи успешным галеристом, пережив циничный, вымотавший её развод и в одиночку воспитывая восьмилетнюю дочь, Рита выработала в себе фантастическое, почти хирургическое качество: она инстинктивно чувствует, когда человека нужно оставить в покое, и делает это без обид, без выяснений, просто отступает на нужное расстояние.

— Какие планы на вечер? — её голос в трубке звучит с

лёгкой, привычной хрипотцой заядлой курильщицы, на заднем плане слышен сухой стук каблуков по паркету галереи, кто-то что-то роняет и тут же извиняется приглушённым голосом.

— После восьми. Стив, — отвечаю я, левой рукой механически поправляя жесткий воротник блузки, который весь день сидит чуть туже, чем обычно.

— Понятно, очередная доза контролируемого адреналина. А до этого?

— Работа с документами. Что у тебя стряслось?

— Открытие выставки в шесть вечера. Умоляю, приди хотя бы на час, спасёшь меня. Ко мне припёрся один невероятно занудный коллекционер из Женевы, который уже сорок минут изводит меня провенансом ранних экспрессионистов так, будто от этого зависит его загробная жизнь. Мне жизненно необходим кто-то с лицом серийного убийцы, чтобы разделить это горе и вежливо от него избавиться.

На моих губах появляется едва заметная, мимолётная усмешка — та редкая реакция, которую я позволяю себе только с ней, потому что знаю: она не станет её комментировать.

— Хорошо. Буду в шесть пятнадцать.

Выставочное пространство Риты в самом сердце Вайнвуда встречает меня привычной богемной стерильностью: ослепительно белые стены, промышленные высокие потолки, обнажающие вентиляционные трубы под самым потолком как

элемент дизайна, и точечные галогеновые светильники, выхватывающие из полумрака масштабные холсты молодого бразильского художника. Его стиль — это тяжёлая, агрессивная абстракция. Доминирование глубоких, грязных цветов и рваные текстуры, исследующие тему насильственного нарушения телесных границ, о чём Рита с воодушевлением рассказывала мне пару недель назад за ланчем, размахивая вилкой, как указкой. Тогда я слушала её краем уха, поглощённая собственными мыслями, но мой мозг, как обычно, зафиксировал и заархивировал информацию — на всякий случай, без видимой цели, просто по привычке никогда ничего не терять.

К моменту моего прихода в залах топчется уже около двух десятков человек, стандартная публика подобных вернисажей: арт-критики с фальшивыми улыбками, отработанными для фотографий, богатые бездельники из дизайн-квартала, обсуждающие цены громче, чем сами картины, и бледные, расфокусированные художники, жмущиеся к стенам, будто боятся занять слишком много места в собственном пространстве. В воздухе стоит плотный, почти удушающий шлейф, в котором едкий запах свежего лака и непросохшего масла смешивается со слишком тяжёлыми, дорогими восточными духами с отчетливыми нотами амбры и мускуса. Запах денег, пытающийся выдать себя за запах искусства. Я беру с подноса официанта бокал ледяного шампанского, чисто для антуража, чтобы занять руки, чтобы было куда

деть взгляд между разговорами, и сканирую помещение методичным, привычным движением глаз. Рита обнаруживается в дальнем углу, зажата между массивной бетонной колонной и тем самым швейцарским коллекционером в безупречном сером костюме-тройке, который что-то увлечённо чертит пальцем в воздухе, вероятно, изображая происхождение очередного полотна.

Чтобы не мешать её профессиональной попытке и не стать следующей жертвой той же лекции, я медленно перехожу от одного холста к другому, задерживаясь ровно столько, сколько требуют приличия, пока не останавливаюсь перед самой крупной работой экспозиции.

Это гигантское полотно, залитое зловещим, почти осязаемым тёмно-красным цветом, переходящим по краям в глухую, угольную черноту, будто цвет сам себя пожирает по краям холста. Слои краски нанесены мастихином — грубо, рвано, с рельефными наплывами, напоминающими подсыхающую кровь, ту корку, что образуется на ране за час-другой. И ровно по центру этот кровавый хаос разрезает тончайшая, бритвенно-острая белая линия. Она кажется почти прозрачной, невесомой, но именно она держит на себе всю композицию, не даёт ей рассыпаться в бессмысленное пятно. Маленькая табличка на стене гласит: «Что остаётся после».

Я замираю перед холстом, чувствуя, как его геометрия странным образом резонирует с моим внутренним состоянием, будто кто-то заглянул мне под рёбра и вынес диагноз

на подрамнике, удерживая меня на месте гораздо дольше, чем позволял мой личный регламент на созерцание чужого искусства. Контроль режет хаос. Белое на красном. Простая формула, которую я узнаю без труда, потому что живу по ней годами.

— Ты действительно пытаешься разгадать его замысел, или просто искусно притворяешься перед публикой?

Этот голос настигает меня со спины, прошивая пространство между лопатками с той же точностью, с какой хирург находит нужное ребро без рентгена. Я узнаю его за долю секунды до того, как разум успевает обработать звуковую волну, узнаю где-то на уровне позвоночника, раньше, чем на уровне слуха.

В этот момент моё тело совершает автономный, неконтролируемый сбой, лёгкие на мгновение спазмируются, отказываясь делать очередной вдох, замирают, будто кто-то нажал паузу, а по коже внутри прокатывается волна сухого, обжигающего жара, поднимающаяся от живота к горлу. В этом нет ни капли страха. Просто моя физиология оказалась расторопнее сознания, как всегда бывает, когда дело касается его, рецепторы и сердце реагируют первыми, задолго до того, как включается холодная логика интеллекта.

Я медленно, сохраняя абсолютную плавность движений, будто исполняю заранее отрепетированный жест, разворачиваюсь на каблуках.

Марко.

Он стоит всего в двух шагах, слегка прислонившись плечом к белой стене, с той небрежностью, которая на самом деле требует безупречного контроля над собственным телом. Вместо дежурного шампанского в его правой руке зажат тяжёлый стакан с порцией янтарного виски без льда, деталь, которую моя память мгновенно извлекает из барселонского архива, будто он специально выбрал напиток, способный швырнуть меня на три года назад одним взглядом на стекло. Внешне он практически не изменился за эти восемь месяцев: всё та же смуглая кожа, резкие, хищные черты лица, та же тяжёлая, доминантная гравитация, которая заставляла людей непроизвольно уступать ему дорогу, не отдавая себе в этом отчёта. Разве что на висках появилось чуть больше серебряной седины, которая странно, почти несправедливо контрастирует с его тёмными, невыносимо внимательными глазами, делая его старше и опаснее одновременно. Он смотрит на меня абсолютно спокойно. Слишком спокойно и уверенно для мужчины, чей последний звонок был демонстративно проигнорирован восемь месяцев назад. От него пахнет дорогим табаком и горьким деревом. Запах, который мгновенно, одним вдохом забивает весь парфюмерный шлейф галереи, стирает его, как лишний слой краски.

— Изучаю, — мой голос звучит безупречно ровно, без единой лишней вибрации в связках. Отличная работа. Контур безопасности восстановлен, пусть и ценой усилия, невидимого снаружи.

— Три года, Ева, — Марко делает медленный глоток, не сводя с меня глаз. Нас разделяет едва ли полметра — расстояние, которое я мысленно измеряю с точностью до сантиметра, будто от этого зависит моя безопасность. — Ты изменилась. Стала ещё более непроницаемой.

— Тебе кажется. Я осталась прежней.

— Да, пожалуй, ты права, — его губы трогает едва заметное согласие, тень чего-то похожего на кривую усмешку. — Не изменилась. Те же защитные контуры. Тот же бронежилет под хрустящим хлопком.

В его словах нет ни привычного мужского кокетства, ни скрытой обиды, ни попытки уколоть за прошлое, за молчание, за побег. Это сухая, хирургическая констатация факта, произнесённая тем же ровным тоном, каким он, наверное, комментирует чужой строительный проект, и именно эта его манера всегда пугала меня больше всего, больше любых признаний. Марко обладал редким, невыносимым талантом формулировать фразы так, что они одновременно несли в себе два полярных смысла, и оба при этом оказывались чистой правдой, не оставляя мне лазейки укрыться ни в одной из версий.

— Какими судьбами в Майами? Ты здесь по делам? — я профессионально перевожу разговор на безопасные рельсы светской беседы, включая режим, который отработала на сотнях переговоров.

— По делам. Строительный сектор, инвестиции в коммер-

ческую недвижимость на побережье. А конкретно в этой галерее — потому что Рита моя давняя знакомая, она прислала приглашение ещё месяц назад. Я понятия не имел, что встречу тебя здесь, — он делает короткую паузу, удерживая мой взгляд своим фирменным, тяжелым вниманием, от которого невозможно спрятаться, как ни старайся. — Или всё-таки имел? Что скажешь?

— Не знаю, Марко. Мне это не интересно.

— Я действительно не знал, Ева. Но я рад, что так вышло.

Я не могу понять, верю ли я его словам, и, честно говоря, из всех сил пытаюсь убедить себя, что это не имеет значения, что через десять минут я уйду и забуду об этом разговоре. Он находится на расстоянии вытянутой руки, и моя психика в этот момент начинает работать в режиме перегруженного процессора: параллельно запускаются протоколы оценки рисков, поиска путей к отступлению и сканирования его движений, малейшего сдвига веса с ноги на ногу. Но где-то в самом тёмном, изолированном уголке моего «я» начинает оживать то, что обычно молчит годами, зарытое глубже, чем я готова признать. Дикая, подкожная пульсация. Сладкий, тягучий спазм внизу живота, который я глубоко презираю, потому что он всегда означал одно и то же — потерю контроля. Я никогда не доверилась бы этому ощущению снова, потому что именно с этого глухого отклика и начался мой контролируемый крах в Испании три года назад.

— Ты не перезвонила мне, — Марко произносит это ров-

но, без упрёка, без нажима в голосе. Он просто выкладывает этот факт на стол между нами, как тяжёлый игровой жетон, оставляя мне решать, что с ним делать.

— Нет, не перезвонила.

— Почему?

Я отвожу взгляд от его лица и фокусируюсь на холсте бра- зильца за его правым плечом, будто там, в кровавом хаосе, спрятан ответ получше моего. Тёмно-красный хаос, чернота по углам и тонкий, незащитный белый шрам посередине.

— В этом не было никакой практической необходимости. Незачем.

Он молчит секунду, пропуская мой удар без встречного, а затем едва заметно кивает:

— Понятно. Твой классический прагматизм. Завидую твоей способности ампутировать прошлое без анестезии.

В этот момент сбоку материализуется Рита, возникает так внезапно, что я почти вздрагиваю. Её глаза расширены чуть больше обычного, а в движениях читается несвойственное ей напряжение — она держит бокал слишком крепко, пальцы вдавлены в стекло до синевы. Она слишком умна и профессиональна, чтобы не считать радиоактивный, искрящийся воздух между нами, тот заряд, что чувствуется физически, кожей.

— Оу, так вы, оказывается, знакомы? — её взгляд быстро перемещается с моего лица на Марко и обратно, как у человека, оценивающего, стоит ли вызывать пожарных.

— Были шапочно знакомы в прошлой жизни, — отрезаю я, пытаясь выстроить вербальную стену максимально быстро.

— Знакомы, — одновременно со мной произносит Марко, даже не обернувшись в её сторону. Его взгляд по-прежнему прикован к моим губам, будто Рита вообще не существует в этой геометрии.

Рита переводит дыхание, оценивая глубину бездны, в которую едва не шагнула, и делает шаг назад с достоинством дипломата, покидающего зону боевых действий.

— Отлично. Шампанское в вип-зоне имеет свойство стремительно заканчиваться, пойду проконтролирую бар, пока коллекционер из Женевы не начал цитировать мне каталоги Sotheby's, — она технично и быстро исчезает в толпе, не оглядываясь. Умница. Спаслась.

Мы снова остаемся вдвоем, запертые в пространстве перед огромным агрессивным холстом, будто он специально был написан для того, чтобы обрамить эту сцену. Вокруг нас продолжает циркулировать изысканная толпа, звенят бокалы, кто-то смеётся слишком громко для приличного вернисажа, швейцарец у входа что-то экспрессивно доказывает длинноногой блондинке — но весь этот внешний мир внезапно теряет громкость и четкость, превращаясь в размытый задний план, в белый шум, который больше не долетает до сознания. Реальным остаётся только этот узкий, плотный кусок воздуха шириной в полметра, разделяющий меня и че-

ловека из Барселоны.

— И надолго ты планируешь задержаться в Майами? — спрашиваю я, чувствуя, как пауза начинает давить на барабанные перепонки, требуя, чтобы её чем-то заполнили.

— Всё зависит от динамики переговоров по контракту.

— Что конкретно за проект?

— Портовая инфраструктура, логистические хабы. Ничего из того, что могло бы тебя по-настоящему заинтересовать, Ева. Сплошные цифры и юридическая рутина.

Он смотрит на меня своим прямым, немигающим взглядом, от которого хочется отвернуться и одновременно невозможно. Марко никогда в жизни не смотрел на женщину вскользь, поверх головы или сквозь неё, как смотрят мужчины, привыкшие к избытку внимания. Он всегда фиксировал объект целиком, проникая под верхние слои кожи, выворачивая наизнанку без спроса.

— Ты выглядишь безупречно, — добавляет он тише, почти для себя.

— Я знаю.

Один угол его рта едва заметно приподнимается вверх. Это нельзя назвать полноценной улыбкой — скорее, мимолётное движение лицевой мышцы, скрытый знак, понятный только нам двоим, шифр, который не расшифровать никому постороннему. Я слишком хорошо помню этот его жест, помню его с той ночи на скалах, с десятков других моментов, которые я предпочла бы забыть. Он означает: «Ты осталась

всё той же гордой, раненой тварью, и ты до смерти боишься это показать».

Ровно в семь пятнадцать в моей сумочке начинает вибрировать телефон, разрезая момент коротким, деловым жужжанием. Я достаю аппарат и вижу сообщение от Стива. «Встречаемся в восемь. Я зарезервировал угловой стол в том новом итальянском ресторане на Брикелл».

Ресторан. Предварительное бронирование стола. За все месяцы нашего общения Стив ни разу не предлагал мне полноценный ужин при свете ламп, лицом к лицу, без спешки. Наш формат — это полумрак закрытых баров, ночные хайвеи и стерильные постели, где не нужно поддерживать разговор дольше необходимого. Ресторан подразумевает совершенно иные правила игры: это долгий, социализированный ужин лицом к лицу, где нужно поддерживать содержательный диалог, играть роль пары и демонстрировать вовлеченность перед официантами, перед соседними столиками, перед самим собой. Стив продолжает методично и агрессивно менять жанр нашего взаимодействия, пытаясь легализовать своё присутствие в моей жизни через формальные, узнаваемые ритуалы. Шаг за шагом ползёт на мою территорию, размечая её флажками там, где раньше не было и следа его претензий.

Я молчу, блокирую экран и убираю телефон обратно в сумку, не давая ему шанса прочитать что-либо на моём лице.

— Тебе пора идти? — Марко фиксирует моё движение с

точностью хронометра, будто засекал время с самого начала разговора.

— Да. Скоро нужно быть в другом месте.

— Мужчина?

Я поднимаю на него глаза, в которых закипает холодная, контролируемая ярость, требующая выхода.

— Это не твоё дело, Марко.

— Согласен, — его голос остаётся абсолютно спокойным, он плавно ставит пустой стакан из-под виски на поднос проходящего мимо официанта, не сбиваясь с ритма разговора ни на секунду. — Абсолютно не моё. Я планирую пробыть в этом городе еще как минимум две недели. Если внутри твоих оборонительных редутов найдётся свободный час — давай просто выпьем кофе.

Он не говорит «позвони мне», не использует обязывающее «мы должны встретиться». Кофе. Максимально открытая, ни к чему не обязывающая, безопасная формулировка, за которую невозможно зацепиться и обвинить его в давлении. Марко никогда не прибегал к грубому давлению, он всегда оставлял жертве иллюзию выбора, и именно в этой его мягкой, обволакивающей силе и заключалась главная опасность. Затягивал петлю так нежно, так постепенно, что ты замечала её только тогда, когда становилось поздно дышать, когда петля уже плотно сидела на шее.

— Посмотрим по графику, — бросаю я, уже разворачиваясь, чтобы уйти, чувствуя спиной, что он не двигается с

места.

— Ева.

Я останавливаюсь, едва повернув голову через плечо, не давая себе развернуться полностью.

— Что ещё?

— Я искренне рад, что у тебя всё хорошо.

Я покидаю пространство галереи ровно в семь тридцать, стараясь идти обычным шагом, а не бегством. Вечерний Вайнвуд встречает меня удушливой волной влажного тепла, агрессивной неоновой подсветкой, опутывающей стволы искусственных пальм гирляндами розового и синего света, и далёким, сытым гулом ресторанных террас, живущих своей отдельной, беззаботной жизнью.

Я дохожу до своей машины, но не нажимаю на кнопку ключа. Вместо этого я просто стою на раскалённом асфальте тротуара, оперевшись рукой о холодный металл крыши, единственную прохладную поверхность в этом плавящемся городе, и запускаю экстренную внутреннюю диагностику, как делаю всегда, когда нужно собрать себя обратно по деталям.

Пульс завышен, примерно девяносто пять ударов в минуту, я чувствую это в кончиках пальцев, прижатых к крыше машины. Но это чистая физиология, обычный выброс адреналина на внезапный раздражитель, я умею классифицировать такие вещи с закрытыми глазами. В горле сухость. Ладони при этом остаются сухими, дыхание ровное, голос во

время разговора не дрогнул ни разу. Я мысленно прокручиваю запись последних пятнадцати минут и не нахожу ни одной трещины. Внешний контур безопасности устоял.

Но существует некий ментальный осадок, который я физически не могу каталогизировать с привычной скоростью, сколько бы я ни пыталась разложить его по полочкам. Дело не в его словах, слова были банальными, почти скучными в своей прямоте. Дело в его манере присутствия. В том, как он держал паузу, не спеша заполнить её, как заполняют её нервные люди. В том, с какой убийственной, хирургической точностью он произнёс это своё «не изменилась». Без капли мужского восхищения или дешёвого упрёка, а просто как факт, зафиксированный патологоанатомом, вскрывшим тело и не нашедшим ничего нового.

Подавляющее большинство людей вокруг видят исключительно ту гляцевую, жесткую витрину, которую я сознательно выставляю напоказ, полируя её годами. Стив видит во мне отражение собственных нарциссических фантазий, удобный и сложный трофей, тешащий его эго перед партнёрами по фирме. Но Марко... Марко всегда умудрялся смотреть сквозь этот глянец, видя то, что я сама боюсь разглядывать в зеркале даже при плотно закрытой двери ванной. И именно эта его способность была для меня абсолютно невыносимой, страшнее любого физического вторжения: рядом с ним я стремительно теряла последний рубеж, который у меня оставался, контроль над тем, что именно чужой человек

во мне видит.

Я спешно покинула Барселону ровно через неделю после того, как поймала себя на постыдной, рабской привычке, я начала убирать звук на телефоне и гипнотизировать экран в ожидании его звонка, вздрагивая при каждой чужой вибрации в сумке. Не потому, что влюбленность. Это плохо сама по себе, я не настолько наивна. А потому, что в моей личной матрице не заложена функция «ждать чужого одобрения» и одновременно оставаться цельной, независимой личностью. Эти два состояния аннигилируют друг друга, как материя и антиматерия, не оставляя после себя ничего, кроме вспышки и пустоты. Зависимость. Это капитуляция, а капитуляция никогда не бывает частичной.

Я достаю смартфон и быстрыми ударами по сенсору отправляю Стиву короткое: «Буду вовремя. В восемь». Никаких лишних слов, никакого намёка на то, что последние двадцать минут моей жизни прошли в полуметре от человека, о существовании которого он не подозревает.

Сажусь за руль, включаю зажигание, и салон мгновенно наполняется ледяным потоком из кондиционера, обжигающим кожу холодом после уличной духоты. Я встраиваюсь в плотный, ползущий поток машин на Брикелл, привычно, на автопилоте. Вокруг мигают тысячи красных стоп-сигналов, город задыхается в собственном трафике, как задыхаюсь сейчас я сама, хотя внешне этого никто бы не заметил, а в моей голове неонов горит одна-единственная фраза, вытес-

няя всё остальное: две недели. Он официально заявил, что пробудет здесь как минимум четырнадцать дней, и это число теперь пульсирует во мне, как второй, незванный пульс.

Я глубоко и отчетливо понимаю, без иллюзий и самообмана, что в итоге наберу его номер. Я знаю себя слишком хорошо, чтобы строить иллюзии на этот счёт, слишком много лет ушло на изучение собственных слабых мест, чтобы теперь притворяться, будто их не существует. Мой внутренний вольтметр уже среагировал на опасность, стрелка дрожит на самой грани допустимого. Я просто ещё не приняла окончательного решения, какую именно цену я готова заплатить за этот новый раунд со своей прошлой смертью.

Загорается зелёный свет. Я вжимаю педаль газа в пол и еду дальше, оставляя позади Вайнвуд, галерею, тёмно-красный холст и человека, прислонившегося к белой стене с виски в руке, но не оставляя ничего из этого по-настоящему.

Глава 4. Ужин

Ресторан «Лиана» на Брикелл встречает меня именно тем сортом изысканной, удушающей уединённости, за которую в Майами принято переплачивать тройной ценник, даже не спрашивая, за что именно платишь. Я помню это пространство: года три назад я потрошила здесь одного крупного инвестора для закрытия тяжёлой сделки, сидя за таким же угловым столом и наблюдая, как у него на лбу выступает испарина под теплым светом ламп. Мягкий, рассеянный янтарный свет, утопающие в полумраке угловые столы на стратегическом удалении друг от друга, будто архитектор специально проектировал их для чужих секретов, и безупречная, почти мистическая акустика. Здесь можно говорить вполголоса, едва шевеля губами, и быть уверенной, что звуковая волна умрёт в паре метров от шёлковой скатерти, не долетев до соседнего столика. Сюда приходят либо для того, чтобы проверить конфиденциальное слияние капиталов, либо для того, чтобы изящно, без лишней крови прикончить затянувшиеся отношения — третьего варианта эти стены, кажется, не предусматривают.

Стив уже на месте. И этот факт заставляет мои внутренние датчики мгновенно перейти в багровый режим тревоги, будто где-то в системе сработала сигнализация без види-

мой причины. Его пунктуальность — это аномалия, системный сбой, который я фиксирую раньше, чем успеваю поздравиться. В нашей негласной табели о рангах Стив всегда опаздывал ровно на пятнадцать минут, ни минутой больше, ни минутой меньше. Я давно перестала удивляться этой математической точности. Это был его отработанный, почти инстинктивный паттерн доминирования, безмолвное заявление о том, чьё время в этой постели стоит дороже. Теперь он сидит у панорамного окна, неестественно прямо для человека, который обычно позволяет себе расслабленную, чуть небрежную осанку хозяина положения. Сквозь стекло неоновые огни делового центра режут полумрак зала на косые, холодные полосы, превращая его лицо в строгую графику, будто кто-то прочертил его углём по бумаге. Он отрешённо листает что-то в смартфоне, механически, не вникая в содержимое, но поднимает голову в ту самую секунду, когда каблук моей шпильки касается паркета возле стола. Слышит меня раньше, чем видит, узнаёт по звуку шага.

— Ты секунда в секунду, — произносит он вместо приветствия. В его голосе нет привычной лёгкости, той небрежной иронии, к которой я привыкла, — только странная, давящая плотность, будто слова выходят из него с трудом, продавливаясь сквозь что-то плотное внутри.

— Я всегда прихожу вовремя, Стив. Опаздывать — слишком дешёвая и энергозатратная привычка.

Он поднимается навстречу. Плавно, демонстрируя ту са-

мую безупречную, вышколенную в закрытых клубах Новой Англии осанку, которую невозможно подделать, только вырастить с детства. Его поцелуй ложится сначала на мою щеку, сухой, формальный, ожидаемый, а затем с едва уловимой, намеренной задержкой перемещается к самому углу рта. Горячий, влажный след на коже, оставленный чуть дольше, чем требуется для приличия. Это новое, вполне осязаемое территориальное притязание. Мелкая диверсия, почти незаметная постороннему глазу, но кричащая для меня, привыкшей считать миллиметры. Раньше наши приветствия были либо подчёркнуто сексуальными, сразу в губы, жёстко, считывая уровень взаимного голода без лишних слов, либо их не было вовсе, заменённых коротким кивком через комнату. Я молча опускаюсь в глубокое кожаное кресло напротив, чувствуя, как от этого движения тупо и глухо занял правый бок — привет от Карлы, напоминание, что тело помнит тот вечер лучше, чем хотелось бы.

Появление сомелье, шелест тяжёлых карт меню в тиснёных обложках и выбор позиций проходят по стандартному, усыпляющему бдительность сценарию, отработанному до автоматизма. Стив заказывает бутылку выдержанного бургундского, ориентируясь на сложный, капризный год, называя его сомелье с той же уверенностью, с какой называл бы номер параграфа в контракте, и я не считаю нужным вмешиваться. Официант в белых перчатках бесшумно раскладывает приборы, меняет угол ножа на миллиметр, будто

в этом ресторане существует отдельный протокол для геометрии стола. Первые пятнадцать минут нашего ужина заполняет абсолютно нейтральный, безопасный светский шум, ровный гул слов, за которым не прячется ничего опасного. Мы обсуждаем логистические тупики побережья, кулинарные тренды, какой-то новый ресторан, открывшийся в двух кварталах, и то, как сильно изменился Брикелл за время его последней командировки. Это классическая буферная зона, зона нейтральных вод, где обе стороны выжидают, прежде чем открыть карты. Мой мозг лениво, на автопилоте фиксирует его поведенческие маркеры, привычным движением, не требующим сознательных усилий.

Стив по-настоящему, бесспорно красив. Той самой породистой, глянцевой американской красотой, которая является не результатом генетической лотереи, а следствием дорогого ухода, правильного спорта три раза в неделю и абсолютного, впитанного с молоком матери права на этот мир, права занимать в нём любое пространство без вопросов. У него идеальная архитектура черепа, он умеет безупречно держать себя в пространстве и занимать его целиком, не прибегая к открытой агрессии, просто существует так, будто иначе и быть не может. Большинство людей в его присутствии подсознательно начинают искать его одобрения просто потому, что его прямой, открытый взгляд симулирует искренний интерес настолько убедительно, что различить симуляцию от подлинности почти невозможно. Это его главный со-

циальный капитал, отточенный годами практики в залах суда и переговорных.

Но сегодня в его безупречном механизме что-то сбоит. Под идеальным фасадом чувствуется тонкое, вибрирующее напряжение, как едва различимый гул высоковольтных проводов под сырой землёй, который слышишь не ушами, а костями, если стоишь достаточно близко.

— Ну и как прошло открытие у Риты? — Стив делает небольшую паузу, аккуратно промокая губы полотняной салфеткой и глядя на меня поверх бокала — движение выверенное, отрепетированное годами деловых ужинов. Я поднимаю на него глаза, сохраняя на лице маску вежливой отстранённости, натянутую заранее, ещё до того, как я переступила порог ресторана.

— В рамках ожидаемого. Довольно агрессивные работы у молодого бразильца. Много рваного цвета и работы с насильем над формой.

— Ты была там исключительно ради Риты?

— Там было слишком много людей, Стив, чтобы оставаться ради кого-то одного.

Пауза. Стив медленно берет бутылку и аккуратно обновляет вино в моем бокале, наклоня её ровно под тем углом, что предписан этикетом. Тонкая струя рубиновой жидкости бьет по хрусталу с тихим, сухим звуком, напоминающим струйку крови, стекающую по стеклу. Он ставит бутылку на место, тщательно, до миллиметра, выравнивая её положение

относительно центра стола, будто от этого зависит равновесие всего вечера. Перфекционизм на грани нервного срыва, который я замечаю впервые за все эти месяцы.

— До меня дошли слухи, что на этом вернисаже крутился какой-то испанец. Из крупных инвесторов, которые сейчас заходят на строительный рынок побережья.

Я смотрю на него. Ровно три секунды, время, необходимое для того, чтобы мой процессор выстроил оптимальную траекторию ответа, перебрал варианты и отбросил лишние. Его лицо остаётся абсолютно спокойным, почти безмятежным, будто он только что сказал что-то о погоде. Ни один мускул не дрогнул, взгляд направлен исключительно на собственное вино, в котором отражаются золотые искры ресторанных ламп, дробящиеся при каждом лёгком повороте бокала.

— Откуда у тебя эта информация? — спрашиваю я, удерживая голос в регистре лёгкого, почти ленивого любопытства, будто вопрос не стоит мне ни малейшего усилия.

— Рита как-то вскользь упоминала в разговоре на прошлой неделе. Мы иногда пересекаемся по делам её фонда, — он произносит это легко, почти небрежно, словно выкидывает за ненадобностью пустую пластиковую карту. Просто информационный мусор, ничего более, ничего, что стоило бы задерживать взгляд дольше секунды.

Я делаю медленный, вкрадчивый глоток бургундского, давая себе паузу, необходимую для того, чтобы спрятать лю-

бую реакцию за движением горла. Вино действительно превосходное — глубокое, с лёгкой, благородной кислинкой и долгим, обволакивающим древесным послевкусием, которое внезапно кажется мне слегка металлическим, с привкусом железа, будто я прикусила язык, не заметив этого.

— Да, кажется, там был какой-то человек, — отзываюсь я, глядя ему прямо в зрачки, не позволяя себе моргнуть первой. — Я не знаю его. Мы не общались.

Стив едва заметно кивает, принимая ответ, и переводит взгляд на тарелку, будто удовлетворённый услышанным, будто это было простой формальностью, которую нужно было закрыть.

Ложь всегда давалась мне легко. Для моей структуры личности это никогда не было моральным выбором, требующим взвешивания последствий, скорее, естественная, автоматическая реакция организма на внешнюю угрозу, базовый камуфляж хищника, вплетённый в инстинкт выживания на клеточном уровне. Но то, что происходит в моём теле в следующую секунду, вызывает у меня чистый исследовательский ужас, тот редкий вид ужаса, когда наблюдаешь за собой со стороны и не узнаёшь собственных реакций. Где-то глубоко под рёбрами, ровно в том месте, куда пришёлся удар Карлы, происходит короткий, болезненный спазм. Маленький соматический рефлекс, мгновенный укол страха, который я не успела заблокировать, не успела перехватить на подлёте. Я мысленно фиксирую эту реакцию и откладываю её в сто-

рону. Не сейчас. Потом. Когда буду одна.

Мы продолжаем ужин в прежнем, размеренном темпе, будто ничего не произошло, будто этот короткий обмен репликами был просто ещё одним пунктом светской программы. Разговариваем о его последних переговорах по слиянию в Бостоне, о моих затянувшихся клиентах из Атланты, которые никак не могут договориться между собой. Это образцово-показательный ужин успешных, независимых людей, картинка из глянцевого журнала о жизни делового Майами.

Я слушаю его с максимальным внешним вниманием, кивая в нужных местах, вставляя уместные реплики, но параллельно мой мозг продолжает крутить одну и ту же деталь, как заевшую пластинку: он знал про это открытие заранее. И он знал, что там появится «испанец». Версия с тем, что Рита могла случайно обронить это в разговоре, имеет право на жизнь, она достаточно правдоподобна, чтобы её не отбрасывать сразу. Но формулировка «испанец-инвестор». Слишком специфическая, слишком точечная деталь для случайного упоминания вскользь. Это означает одно из двух: либо моя подруга наговорила лишнего, нарушив ту тонкую грань конфиденциальности, которую мы обе всегда соблюдали, либо Стив целенаправленно и очень аккуратно собирал информацию о моих возможных контактах, о людях из моего прошлого. Наводил справки, методично, по крупицам, как собирают досье. И второй вариант категорически не вписывается в мои представления о безопасности, разрывает их по

швам изнутри.

Когда с основным блюдом покончено, Стив откидывается на спинку кресла, складывает руки на груди и фиксирует мой взгляд с той сосредоточенностью, с какой смотрят на оппонента перед решающим ходом. В его позе исчезает былая расслабленность, плечи напряжены, будто он готовится к удару, который собирается нанести сам.

— Ева, я могу задать тебе один прямой вопрос?

Люди, которые предваряют свои слова подобными разрешениями, на самом деле уже всё для себя решили задолго до этой фразы. Это не запрос на легитимность, не вежливая формальность — это тактическое предупреждение о начале артиллерийского обстрела, последняя вежливость перед тем, как начнётся бомбардировка.

— Задавай, конечно. Я тебя слушаю.

— Что именно у нас сейчас происходит?

Я смотрю на него, не меняя выражения лица, удерживая маску усилием, которое стоит мне больше, чем хотелось бы признавать. Он не отводит глаз, что для него абсолютно нетипично. Обычно, когда Стиву приходится озвучивать сложные, эмоционально нагруженные вещи, он бессознательно уводит взгляд чуть в сторону, в окно или на интерьер, — это его естественный психологический щит, который я изучила ещё в первые недели нашего знакомства. Но сейчас он смотрит мне прямо в душу, жёстко и центрированно, не оставляя мне пространства для манёвра.

— Я не совсем понимаю суть твоего вопроса, Стив. Что конкретно ты имеешь в виду?

— Я имею в виду нас. Вот это всё. Всё, что между нами длится.

— Мы встречаемся. Нам комфортно вместе.

— Встречаемся, — он дублирует моё слово с едва заметной, горькой иронией, будто пробует его на вкус и находит несъедобным, и берёт в руку свой бокал, но так и не делает глотка, просто держит его, вращая ножку между пальцами. — Это слишком обтекаемое, пустое слово, Ева. Оно не значит абсолютно ничего.

— Оно значит ровно то, что под этим подразумевают взрослые люди с плотным рабочим графиком.

Он молчит несколько секунд, устанавливая между нами тяжёлую, звенящую тишину, которую я физически чувствую кожей, как перепад давления перед грозой. Затем аккуратно возвращает бокал на скатерть, будто ставит финальную точку перед тем, что собирается сказать.

— Я хочу большего, Ева. Мне больше не подходит этот формат.

Вот оно. Фиксация неизбежного, слово, произнесённое вслух, которое теперь нельзя забрать обратно. Я знала, что этот разговор состоится, я видела его предвестники ещё во вторник, читала их в его чуть более долгих взглядах, в паузах перед сообщениями. Я просчитала эту беседу до мелочей, у меня в голове была выстроена идеальная, холодная версия

этого диалога, отрепетированная настолько тщательно, что казалась неуязвимой. Но ментальная модель и живая реальность — это принципиально разные плоскости, и я в очередной раз убеждаюсь в этом на собственной шкуре.

— Большого — это чего именно? — мой тон становится суше, чем мне хотелось бы. — И давай обойдёмся без метафор. Говори конкретно.

Он наклоняется чуть вперёд, сокращая расстояние между нами, будто хочет, чтобы следующие слова достигли меня наверняка, минуя все защитные слои. В его глазах отражается янтарный свет ламп, дробится в зрачках мелкими искрами.

— Я хочу узнать тебя по-настоящему, Ева. Не твою идеальную рабочую маску, не твой безупречный тайм-менеджмент, за которым ты прячешься от всех, включая, кажется, саму себя. Я хочу, чтобы ты оставалась у меня на ночь не потому, что твой логистический маршрут на утро так выглядит удобнее, а потому, что ты испытываешь в этом потребность. Я хочу, чтобы ты хоть раз рассказала мне что-то реальное о себе. Не о своих клиентах из Джорджии, не о контрактах. О том, что внутри. — Он делает короткую паузу, и его голос падает на полтона ниже, теряет привычную уверенность юриста и звучит почти по-человечески незащитно. — Мы спим в одной постели уже полгода, Ева. И я ловлю себя на мысли, что понятия не имею, кто ты такая на самом деле.

Это чистая, неразбавленная правда, произнесённая без

малейшего расчёта на эффект. Он абсолютно прав в каждом своём слове, и я не нахожу ни единой лазейки, чтобы оспорить сказанное. И именно из-за этой его абсолютной правоты его слова причиняют мне почти физический дискомфорт, тупую боль где-то в груди, будто кто-то надавил на старый синяк.

— Ты знаешь обо мне ровно столько, сколько необходимо для здоровых, сбалансированных отношений, — отрезаю я, цепляясь за привычную формулировку, как за спасательный круг.

— Нет, — его ответ звучит мягко, без капли ожидаемой злости или обиды, что пугает меня сильнее любого крика. — Не знаю. И ты прекрасно это понимаешь.

Мы замираем, глядя друг на друга сквозь пространство стола, будто оба ждём, кто первым отведёт взгляд. Из скрытых динамиков ресторана доносится какая-то усыпляющая, меланхоличная фортепианная партитура, совершенно не соответствующая напряжению, повисшему между нами.

— Что именно из моего прошлого тебя так сильно интересует? — спрашиваю я, чувствуя, как внутри начинает закипать глухое, тёмное раздражение, поднимающееся откуда-то из живота. Он думает всего мгновение, будто взвешивает, стоит ли формулировать вопрос мягче.

— Откуда ты приехала в Майами? Где твои корни? Самый простой, самый банальный анкетный вопрос.

Я спокойно беру свой бокал, делаю ещё один ровный гло-

ток, позволяя бургундскому охладить рецепторы и выиграть себе ещё пару секунд, и произношу, стараясь звучать так же буднично, как если бы речь шла о погоде:

— Из Огайо. Я выросла там.

— Твоя семья всё ещё там?

— Нет.

— «Нет» — в смысле их больше нет в живых, или «нет» — в смысле вы просто не поддерживаете отношения?

Я опускаю взгляд на бокал. Хрусталь тончайший, почти невесомый в пальцах. Тёмное, почти чёрное в полумраке ви-
но, на поверхности которого подрагивает блик от свечи на соседнем столике.

— Третье, — мой голос звучит как щелчок оружейного затвора, короткий и окончательный. — Семьи нет вообще.

Стив медленно кивает. Он не пытается давить, не задаёт наводящих вопросов и не лезет глубже в эту рану, хотя я вижу по его лицу, что вопросы у него есть, целая очередь вопросов, выстроившихся за этим одним ответом. Это то редкое качество, которое я всегда искренне ценила в нём: он обладает достаточным социальным интеллектом, чтобы вовремя остановиться на самом краю, не переступая черту.

— Знаешь, у меня в этом плане тоже всё довольно паршиво, — Стив откидывается назад, и его взгляд уходит куда-то в сторону панорамы ночного Брикелла, будто там, за стеклом, легче произносить то, что он собирается сказать. — Мой отец скончался два года назад. До этого момента мы не

разговаривали с ним около восьми лет из-за затяжного семейного конфликта. Я... я даже не поехал на его похороны. — Он делает небольшую паузу, словно взвешивая тяжесть собственного признания на невидимых весах, а затем добавляет, тише: — Я рассказываю тебе это не для того, чтобы выстроить дешёвую психологическую симметрию или разжалобить. Просто хочу, чтобы ты понимала: я тоже умею молчать о том, что болит.

Я внимательно вглядываюсь в его лицо в течение нескольких секунд, ища привычные маркеры лжи и не находя ни одного. Он говорит чистую правду. Мой внутренний верификатор безошибочно фиксирует это по едва заметным микродвижениям мимических мышц вокруг глаз, по изменившемуся, более глубокому ритму его дыхания, по тому, как чуть напряглась челюсть на слове «похороны». Это не отрепетированный приём из арсенала соблазнения — это кусок его реальной, необработанной боли, вынесенный на стол между нами почти против его воли. И именно эта его подлинность делает мою стратегию обороны бесконечно сложной, почти невыполнимой. Против искренности у меня нет готовых алгоритмов, нет отработанных контрприёмов.

Когда приносят счёт, он молча расплачивается картой, не дожидаясь моей привычной попытки полезть за кошельком. Сегодня я не считаю нужным настаивать на разделении чека, хотя обычно мы всегда делим расходы поровну, это ещё одно из наших негласных правил, которое я, сама того не заметив,

только что нарушила. Контур нарушен.

Когда мы выходим на улицу, нас окутывает душное, тропическое тепло ночного Майами, разбавляемое влажным ветром со стороны залива, доносящим слабый запах соли и водорослей. Стив делает шаг ближе и уверенно берет меня за руку, переплетая наши пальцы плотно, будто фиксирует замок. Он не спрашивает разрешения, не ищет одобрения в моих глазах, он просто фиксирует своё присутствие, свою территорию. И я... я ловлю себя на том, что оставляю свою ладонь в его руке, хотя каждая клетка тела годами была натренирована на обратное. Я не убираю её.

— Ты сегодня остаёшься у меня? — спрашивает он, когда мы подходим к его массивной черной машине, поблёскивающей под уличным фонарём.

Я смотрю на него, оценивая архитектуру момента с той же тщательностью, с какой оцениваю кризисную ситуацию клиента. Вот в чём заключается главная системная ошибка моей логики: я могла и должна была уйти сразу после его прямого вопроса о том, что у нас происходит. У меня была идеальная возможность озвучить какую-нибудь гладкую, закрывающую тему фразу, сесть в собственный автомобиль, уехать к себе и начать методичный, постепенный процесс отдаления, растянутый на недели, чтобы никто не заметил швов. Это было бы абсолютно правильно.

Но он рассказал мне про своего отца. Он открыл передо мной свою уязвимость, ту самую, которую я сама прячу под

семью замками. И он взял меня за руку, а я позволила этому случиться, не отдернула ладонь в последний момент, как делала бы ещё месяц назад.

— Да, — тихо произношу я. — Я остаюсь.

До его пентхауса на Брикелл мы доезжаем в тяжелом, давящем молчании, которое густеет с каждым кварталом. Стив ведёт машину излишне резко, рвано переключая передачи, словно вымещая на механизме остатки того эмоционального обнажения, на которое он только что решился в ресторане и о котором теперь, кажется, немного жалеет. Между нами в замкнутом пространстве салона мечется густой, едва ли не осязаемый запах грозового озона, тот особый электрический привкус воздуха, что бывает перед по-настоящему сильной бурей.

В лифте он не прикасается ко мне, но я кожей чувствую, как его взгляд буквально прожигает ткань моей блузки в районе лопаток, будто пытается прожечь дыру и заглянуть внутрь. Едва за нами с глухим щелчком закрывается тяжелая дверь его квартиры, правила вежливости аннигилируют мгновенно, без предупреждения. Здесь нет места прелюдиям или деликатности — этот раунд начинается сразу на поражение.

Стив перехватывает мои запястья в темноте прихожей, жестко, до легкого хруста в суставах, и вжимает меня спиной в холодное зеркало встроенного шкафа. Моё отражение в темноте разбивается на куски, как и мой хваленый внутрен-

ний регламент, разлетается на осколки, которые я не успеваю собрать. В его дыхании, тяжелый шлейф выпитого бургундского, в его движениях, опасная, первобытная злость собственника, который почувствовал, что из-под его контроля ускользает самый ценный трофей его коллекции.

— Ты здесь, Ева, — его голос звучит как глухой рык у самого моего уха, вибрирующий, почти животный. — Но ты снова не со мной. Где ты сейчас?

Я не отвечаю. Вместо слов я резко выгибаюсь навстречу, перехватывая инициативу до того, как он успевает задать следующий вопрос, и вливаюсь в его губы жестким, почти агрессивным поцелуем, граничащим с укусом. Мне нужно заставить его замолчать. Мне жизненно необходимо, чтобы он перестал думать, перестал анализировать и задавать свои бритвенные вопросы, режущие по живому. Мне нужно его тело — как тяжелый, глухой щит от образа Марко, который намертво отпечатался на сетчатке моих глаз после галереи и никак не желает стираться.

Он принимает этот вызов мгновенно, без секунды промедления. Слышится сухой, характерный треск рвущейся ткани, мелкие пуговицы моей блузки градом сыплются на паркет, разлетаются по углам прихожей. Стив подминает меня под себя с той степенью неистовой, требовательной силы, которой я от него никогда не видела прежде, ни разу за все эти полгода. Наша близость сегодня лишена привычной эстетики и выверенного ритма; это чистая, кинетическая суб-

лимация страха и обладания, где нет места нежности, только необходимость немедленно, физически подтвердить то, что словами подтвердить невозможно.

Он переносит меня на широкую кровать, залитую мертвенным, синеватым светом от уличных неоновых вывесок, пробивающимся сквозь неплотно задёрнутые шторы. Вспышка синего на его плечах, глухая тень на стене, дрожащая в такт движению. Стив берет меня так, словно пытается силой выбить из моего сознания все чужие имена, все прошлые города и произнесенные тайны, вычистить меня изнутри до основания. Каждое его движение — это жесткая, почти яростная попытка заставить меня подчиниться, закричать, выдать хоть одну неконтролируемую, искреннюю эмоцию, которую он смог бы присвоить себе. Он вдавливая мои плечи в матрас, фиксируя меня, подчиняя своей тяжести всем весом тела. Мой правый бок взрывается острой, пульсирующей болью от недавнего удара Карлы при каждом его толчке, но эта физическая боль сейчас. Моё единственное спасение, единственная точка, за которую можно уцепиться.

Я принимаю его ритм, я впиваюсь ногтями в его плотные, напряженные плечи, отвечая на эту волну агрессии с той же разрушительной самоотдачей, будто мы оба соревнуемся, кто первым сдастся. Моё тело работает безупречно, но мой расколотый мозг продолжает вести свою автономную, ледяную фиксацию, отделённую от того, что происходит с плотью. Я смотрю на его искаженное страстью лицо сквозь пеле-

ну собственных волос и с ужасом понимаю: эта судорожная попытка спастись не работает. Вместо того чтобы утонуть в Стиве, раствориться в нём без остатка, я с каждым толчком всё отчетливее слышу внутри низкий, вибрирующий баритон Марко, всплывающий из-под контроля, как пузырь воздуха со дна:

«Ты не изменилась, Ева. Те же защитные контуры».

На пике, когда Стив со стоном содрогается всем телом, утыкаясь лицом в мою шею, я закрываю глаза. В этой темноте вспыхивает то самое гигантское тёмно-красное полотно бразильца из Вайнвуда, будто впечатанное под веки. Кровавый хаос, угольная чернота по краям и бритвенно-острая, тонкая белая линия, разделяющая мир на «до» и «после». Белая линия контроля на кровавом фоне.

Стив побежденно падает рядом, тяжело и шумно дыша, с той расслабленностью, что бывает только после полной, безоговорочной капитуляции тела. Он перекидывает руку через мою талию, притягивая к себе в полной уверенности, что этот яростный акт обладания наконец-то разрушил мою стену и сделал нас ближе, чем когда-либо прежде. Он победил. Так ему кажется.

Спустя три часа, когда Стив наконец погружается в глубокий сон, я лежу в абсолютной темноте его спальни и неподвижно смотрю в потолок. Архитектоника его квартиры принципиально отличается от моей: потолки здесь заметно ниже, будто давят чуть сильнее, а от дальнего правого угла

прямо к центру тянется длинная, тонкая строительная трещина, которую я разглядела ещё в первый визит и с тех пор не могу перестать искать взглядом. Она кажется бритвенным шрамом на фоне идеальной штукатурки.

Мой мозг продолжает безостановочно крутить одну и ту же фразу, сказанную им за ужином: «Я слышал, там был какой-то испанец». Рита действительно могла упомянуть об этом. Случайно. Вскользь, между делом, за бокалом вина на очередном благотворительном приёме. Сказать, что Марко Ромеро планирует посетить её вернисаж в рамках своего американского турне, это ведь ничего не значащая деталь для человека со стороны. Стив мог зафиксировать эту информацию чисто механически, не придав ей значения, как фиксируют десятки других имён и фактов за рабочий день. Он может абсолютно ничего не знать о моём барселонском периоде, о том, что связывало нас с Марко, и этот «испанец-инвестор» для него. Не более чем случайный триггер, всплывший в памяти за ужином. Может быть. Всё это вполне укладывается в рамки теории вероятностей, если очень захотеть в это поверить.

Я поворачиваю голову и слушаю его дыхание. Оно ровное, глубокое, размеренное, без единого сбоя. Стив спит удивительно хорошо, эту его особенность я зафиксировала ещё в самые первые недели нашего знакомства и с тех пор не переставала удивляться. Люди, которые спят вот так, без резких вздрагиваний, без хаотичных рывков конечностей, без

затяжных поверхностных фаз, обладают либо колоссальным уровнем физической усталости, либо абсолютным внутренним покоем, тем самым покоем, о котором я знаю только теоретически. Либо в их шкафах действительно нет тех скелетов, которые имеют свойство приходить по ночам и душить своего хозяина за горло. У Стива их нет. У меня же целый склеп, забитый под завязку.

Я до сих пор не знаю, какой он на самом деле, несмотря на полгода общих поездок, общей постели, общих ужинов. Он сказал мне сегодня: «Я не знаю, кто ты, после полугода отношений». И это абсолютно взаимно, зеркально, хотя я никогда не произнесла бы это вслух. Я тоже понятия не имею, кто скрывается за его безупречным фасадом успешного юриста, под этой глянцевой оболочкой. Но разница в том, что раньше эта неизвестность была моим главным условием комфорта, тем самым топливом, на котором работал весь механизм наших отношений. Мне не нужно было знать его, чтобы использовать этот ресурс, тепло его тела, надёжность его расписания, предсказуемость его реакций. Теперь этот ресурс начал требовать мою душу взамен, и это условие мне никто не озвучивал заранее.

В три часа ночи я бесшумно соскальзываю с кровати, стараясь не потревожить пружины матраса. Мои движения отточены до автоматизма годами практики: я аккуратно одеваюсь в темноте, не издав ни единого шороха, нахожу вещи по памяти, а не на ощупь, подхватываю свою сумку и выхожу в

прихожую. Здесь всё пропитано его присутствием: на крючке сиротливо висит его тяжелая куртка, на зеркальной полке небрежно брошена связка ключей рядом с забытой квитанцией из химчистки. В воздухе стоит плотный, застоявшийся шлейф его дорогого одеколона с отчетливыми нотами кедра, смешанный со специфическим запахом деревянных стеновых панелей, который я узнаю с закрытыми глазами. Полная, звенящая тишина, нарушаемая только моим собственным дыханием.

Я замираю на секунду перед входной дверью, чувствуя, как внутри нарастает холодная пустота, знакомая, но от этого не менее пугающая. Затем достаю из сумки смартфон, разблокирую экран, стараясь, чтобы яркость не резанула по глазам в темноте, и открываю список входящих. Нахожу номер Марко, задержав палец над ним на долю секунды дольше необходимого. Я не собираюсь звонить ему среди ночи — это было бы проявлением слабости, нарушением моих собственных, годами выстроенных правил. Вместо этого я открываю окно сообщений и быстро, не давая себе времени на сомнения, пока рациональная часть меня не успела вмешаться, набираю три слова:

«Кофе в воскресенье».

Нажимаю кнопку отправки. Стрелка уходит вверх, растворяется в темноте экрана. Дело сделано, и обратного хода нет. Я блокирую телефон, убираю его глубоко в карман брюк и тихо переступаю порог квартиры, закрывая за собой дверь

на замок. Сухой щелчок, окончательный, как последняя точка в приговоре.

На улице меня встречает густая, тёплая чернота южной ночи, обволакивающая, почти материальная. Я медленно иду по направлению к парковке, где стоит моя машина, ощущая под ногами ещё тёплый после дневной жары асфальт, и внутри меня загорается чёткое, хирургическое осознание: только что, в этой стерильной прихожей, освещённой лишь светом уличного фонаря сквозь окно, я совершила свой выбор. Я пока не могу спрогнозировать, к каким именно последствиям он меня приведёт, — слишком много переменных, слишком мало данных. Но этот шаг за черту уже сделан, и его нельзя забрать обратно, как нельзя вернуть отправленное сообщение. Назад дороги нет.

Глава 5. Кофе

Марко присылает ответ в субботу утром, когда солнце ещё только лениво выползает из-за горизонта залива, окрашивая тяжёлую воду в цвет дешёвой, разбавленной марганцовки, а над водой висит тонкая полоса утреннего тумана, которая к девяти растворится без следа. Окно мессенджера выдаёт всего два слова, полностью очищенных от каких бы то ни было эмоциональных примесей, будто он специально вычистил их перед отправкой:

«Хорошо. Где?»

Никаких дежурных банальностей в духе «я рад, что ты объявилась», никакой скрытой иронии или триумфа, которые мне пришлось бы по привычке препарировать, раскладывать на составляющие и калибровать, как я делаю с каждым чужим сообщением. Сухая, почти военная готовность принять мои условия, без единой попытки перехватить инициативу.

Я отправляю ему адрес неприметной кубинской кофейни на самой окраине Корал-Уэй, набираю его быстро, почти не задумываясь, будто пальцы знают маршрут лучше головы. Это место находится далеко за пределами привычных маршрутов деловой и богемной тусовки Майами: сонный, полузаброшенный квартал с выцветшими вывесками, облупившей-

ся штукатуркой и запахом пережаренного масла, витающим над улицей с самого утра, где шанс встретить кого-то из моих клиентов или лощёных знакомых Риты стремится к абсолютному нулю. Локация выбрана моим внутренним навигатором мгновенно, без участия логики, будто где-то в подкорке давно хранился список подобных слепых зон на случай именно такой необходимости. Я прячу нас в слепую зону города ещё до того, как успеваю отрефлексировать сам факт этого липкого, постыдного страха — страха, что кто-то увидит меня рядом с ним и сделает выводы раньше, чем я сама успею их сделать. Вспышка на периферии, замеченная и тут же спрятанная.

Вся суббота проходит под знаком затяжного, изматывающего кризиса, и, как ни странно, это помогает мне удерживать фокус, не даёт мыслям соскальзывать в сторону завтрашней встречи. Двухчасовой селекторный звонок с Кейном, главой крупного фармацевтического холдинга, чьи акции вторую неделю лихорадит на бирже из-за слухов о побочных эффектах нового транквилизатора,. Не приносит облегчения, только новую порцию тревоги, вплетающуюся в уже существующую. Пронырливый репортёр из Miami Herald намертво вцепился в след закрытых клинических протоколов, и, судя по вектору его вопросов, всё более прицельных, всё более осведомлённых, у него на руках детальный, профессиональный слив от инсайдера из самого совета директоров. Ситуация пахнет крупным репутационным

кладбищем и падением капитализации на треть, если не больше.

Когда я жёстко, переходя на свой ледяной, деловой регистр, тот самый, который заставляет клиентов подбирать слова осторожнее, требую от Кейна предоставить мне полный, пофамильный список лиц, имевших доступ к серверам в обход службы безопасности, он выдерживает слишком долгую, вязкую паузу, за которой я безошибочно угадываю попытку что-то утаить.

— Это конфиденциальная информация уровня «А», Ева, — его голос в динамике звучит глухо, с характерным хрипом заядлого курильщика, который явно не спал последние сутки.

— Кейн, если через двенадцать часов у меня не будет этих имён, в понедельник утром твои акции будут стоить дешевле обёрточной бумаги. Выбирай, что тебе дороже: конфиденциальность твоих вороватых директоров или твой миллиардный холдинг.

Он выдыхает в трубку тяжёлое, согласное «хорошо», в котором слышится не капитуляция, а расчёт, попытка выиграть время, а не сдать позиции полностью. Но для меня эта задержка означает лишь одно: список будет урезанным, половину имён ключевых акционеров он попытается утаить, спрятать за формальными оговорками, а значит, мне снова придётся работать вслепую, прощупывая это минное поле чистой интуицией, без карты, без гарантий.

Когда я кладу телефон на стол, правые рёбра, всё ещё помнящие тяжёлый, профессиональный удар Карлы, отзываются глухой, пульсирующей вспышкой боли, будто напоминают о себе намеренно, в самый неподходящий момент. Я инстинктивно прижимаю ладонь к боку сквозь тонкий шёлк домашнего халата, чувствуя тепло собственной кожи под тканью. Моя физическая уязвимость рифмуется с уязвимостью моих рабочих контуров с почти издевательской точностью. Везде бреши. Везде течь. Куда ни посмотри.

Затем следует изнурительная, карательная тренировка в зале, где я методично, до седьмого пота выжигаю остатки адреналина, отрабатываю серии на мешке до дрожи в предплечьях, а после — пустой, стерильный вечер в четырёх стенах моей квартиры, где даже гул кондиционера кажется слишком громким. В восемь вечера на экране мигает сообщение от Стива: «Как ты после вчерашнего?»

Я выдерживаю паузу ровно в десять минут, классический интерьерный тайм-аут, отработанный до автоматизма, и набираю стандартный, блокирующий любые личные темы скрипт: «Нормально. Закрываю хвосты по работе». Больше он не пишет. Безупречно. Стив умеет считывать маркеры моей недоступности, различает их безошибочно, и слишком дорожит собственным достоинством, чтобы опускаться до банальной навязчивости, до повторных сообщений, выдающих слабость. Матрица работает без сбоев. Пока что.

В воскресенье в одиннадцать утра Корал-Уэй изнывает от

липкого, неподвижного зноя, который, кажется, никуда не движется вместе с воздухом, а просто стоит на месте, как невидимая стена. Воздух кажется жидким стеклом, которое тяжело вдыхать, каждый вдох требует лёгкого усилия, будто грудная клетка преодолевает сопротивление. Я прихожу в кофейню на пять минут раньше назначенного времени, заняв угловой столик в самом конце зала, привычным, отработанным движением выбирая позицию. Спина плотно прижата к массивной деревянной перегородке, лицо обращено к входной двери. Старая, въевшаяся в подкорку привычка безопасности, чьи корни я прекрасно знаю, но предпочитаю не ворошить без крайней необходимости, оставляя эту дверь плотно закрытой.

Марко переступает порог ровно в одиннадцать, с абсолютной, хронометрической точностью, будто время само подстроилось под него, а не наоборот. На нём простая светлая рубашка из тонкого мятого льна с небрежно подвёрнутыми рукавами, обнажающими предплечья, и тёмные брюки. Ни одной брендовой детали, ни единого кричащего статусного маркера, за который мог бы зацепиться глаз обывателя, ни единой попытки продемонстрировать деньги через одежду. Это особая, высшая форма трансляции превосходства, свойственная мужчинам его калибра: безмолвное заявление о том, что твой личный вес в этом мире настолько очевиден, что ты принципиально не нуждаешься в инструментах внешнего впечатления. Ему не нужен глянец. Он сам монолит, са-

модостаточная масса, которой всё равно, во что она одета.

Он мгновенно выхватывает меня взглядом из полумрака зала, будто мой силуэт для него — единственная точка фокуса среди десятков посетителей, едва заметно кивает и размашистым, заземлённым шагом направляется к столику, не спеша, но и не медля. Опускаясь на стул напротив, он окидывает беглым взглядом скромный, пахнувший хлоркой и дешёвым табаком интерьер кубинской забегаловки, облупившуюся краску на стенах, выцветшие фотографии Гаваны в рамках, старый вентилятор под потолком, и негромко произносит:

— Ты осталась верна себе. Выбрала точку на карте, где тебя гарантированно никто не знает.

— Здесь варят лучший эспрессо в этом секторе, — отзываюсь я, складывая руки на коленях под столом, чтобы он не видел, как пальцы бессознательно сжимают ткань платья, выдавая то, что лицо старательно скрывает.

— Ева.

— Что?

Он смотрит на меня — прямо, тяжело, без тени улыбки или дежурного светского кокетства, тем взглядом, который всегда заставлял меня чувствовать себя разложенной на составляющие:.. Ничего. Всё в порядке. Просто фиксирую параметры.

Подошедшая официантка, полная кубинка с усталыми глазами,двигающаяся между столиками с той неспешно-

стью, что бывает только у людей, отработавших смену наполовину,. Прерывает этот визуальный поединок коротким, дежурным вопросом. Марко заказывает двойной эспрессо, я. Классический чёрный американо без сахара, как всегда. Пока она расставляет толстостенные чашки, звякающие о блюда, между нами повисает плотное, почти осязаемое молчание. Но это не та неловкая, стыдливая пауза, которая обычно возникает между бывшими любовниками, не знающими, куда деть руки после долгой разлуки, не знающими, с чего начать. Это профессиональное затишье двух сильных игроков, каждый из которых в этот момент занимается ревизией чужого ментального поля, ищет слабые места молча, не показывая виду. Сканирование портов.

— Ну и как тебе Майами после Европы? — спрашивает он наконец, обхватывая крупными пальцами маленькую чашку, будто она вот-вот выскользнет.

— Здесь слишком жарко. Жара утомляет. Она лишает структуры.

— Ты живёшь в этом климате уже три года, Ева.

— Три с половиной, если быть точной.

— И каков промежуточный итог этой релокации?

— Всё нормально, Марко. Процессы отлажены, клиенты платят, контуры стабильны.

Он делает короткий глоток, аккуратно ставит фарфор на блюдец, без единого звука, движение выверено годами привычки, и чуть прищуривается, отчего в уголках его глаз со-

бираются резкие, подсушенные солнцем морщины, которых я не помню с Барселоны:

— Ты употребляешь это слово, «нормально», с частотой сломавшегося автоответчика.

— Потому что оно максимально точно отражает статус моей реальности.

— Или потому что это самый дешёвый и удобный вербальный щит, позволяющий закрыть тему до того, как разговор станет по-настоящему личным.

Я фиксирую его выпад, чувствуя, как внутри начинает подниматься тёмная волна контролируемого, но от этого ещё более острого раздражения, поднимающаяся откуда-то из солнечного сплетения. Три года. Прошло три чёртовых года, но этому человеку требуется всего десять минут личного контакта, чтобы безошибочно нащупать стыки моих защитных плит и вставить туда свой лом, будто он никогда не прекращал этой работы, просто делал паузу. Как будто не было моего внезапного, панического бегства из Барселоны, не было этих месяцев глухого, выжженного молчания, не было новой жизни, которую я так скрупулёзно, по миллиметру выстраивала на другом континенте, кирпич за кирпичом. Мы просто продолжаем тот самый разрушительный диалог, который прервали в Испании, будто и не было трёхлетней паузы, будто она была лишь короткой заминкой в предложении.

И самое невыносимое заключается в том, что где-то глубже, под слоем раскалённой злости, во мне оживает совер-

шенно иное чувство, густое, узнаваемое тепло, у которого нет легального названия в моём рабочем словаре, тепло, которое я не хочу признавать, но не могу и вытравить.

— Зачем ты прилетел в Майами на самом деле, Марко? — я подаюсь вперёд, сокращая дистанцию, будто физическая близость может заставить его сказать правду быстрее. — Только не нужно снова сказок про инвестиционные пулы и благотворительность Риты.

Он выдерживает мой взгляд, не мигая, будто это простейшая задача из всех, что ему приходилось решать: — Мне предложили возглавить крупный инфраструктурный проект на побережье. Модернизация портовых терминалов. Контракт с семизначной цифрой. Я взвесил риски и согласился.

— Зная, что я нахожусь в этом городе?

В зале кофейни на секунду зависает мёртвая, вакуумная пауза, будто даже воздух замер в ожидании его ответа. Слышно, как на кухне с пронзительным шипением выпускает пар кофемашина, и этот звук кажется оглушительно громким в наступившей тишине.

— Зная, что ты здесь, Ева. Именно так.

Карты выложены на стол с убийственной, варварской прямотой, без единой попытки смягчить удар. При желании он мог бы легко разыграть карту случайного совпадения, заявить, что мир тесен, а Майами велик, и я бы никогда не смогла проверить истину, не нашла бы, за что зацепиться. Но он сознательно отказывается от лжи, отказывается от лёгко-

го пути. И эта его обнажённая, честная позиция куда опаснее любой изощрённой стратегии, потому что против неё у меня нет отработанных приёмов. Она лишает меня моего главного оружия — возможности играть в угадывание намерений, находить нестыковки, ловить на слове. Она выбивает почву прямо из-под ног, оставляя меня балансировать на пустоте.

— И какова твоя конечная цель? — мой голос звучит подчеркнуто сухо, вымороженно, как лёд в морозильной камере, хотя внутри у меня всё что угодно, только не холод. — Чего конкретно ты хочешь от этой встречи?

— Увидеть тебя.

— Это слишком абстрактно, Марко. Зачем?

Он отводит взгляд от моего лица и на секунду фокусируется на тёмном, маслянистом зеркале своего эспresso, будто там, в тёмной поверхности, легче собраться с мыслями:

— Потому что три года назад ты исчезла из моей квартиры в Барселоне, оставив на кухонном столе ключи и пустой стакан из-под воды. Ты не произнесла ни слова прощания, не оставила ни одной записки. И я все эти три года живу с осознанием того, что в этой истории остался кусок уравнения, который я так и не смог разгадать. Мой мозг не любит незакрытых задач.

— Там нечего было разгадывать. Всё было предельно очевидно. Проект исчерпал себя.

— Нет, Ева. Далеко не очевидно.

Кофейня постепенно заполняется воскресной публикой:

ленивые семейные пары со следами подушек на лицах, ещё не до конца проснувшиеся, латиноамериканцы с маленькими детьми, шумно требующими сладкой выпечки из витрины, хипстеры с раскрытыми ноутбуками за соседним столиком, тихо обсуждающие очередные венчурные стартапы за стаканом холодного брю. В углу молодая мать что-то негромко и ласково выговаривает капризничающему ребёнку, бережно качая его на руках, укачивая привычным, машинальным движением. Я перевожу взгляд на эту сцену, фиксирую её как элемент чужого, стерильного и абсолютно недоступного мне мира, того мира, где люди умеют качать на руках чужую боль, не пугаясь её, а затем снова поворачиваюсь к Марко.

— Что именно ты хочешь от меня услышать, чтобы окончательно закрыть этот свой гештальт?

— Правду. Только её. Настоящие мотивы твоего побега.

— Хорошо. Слушай правду, если тебе так нужны чужие протоколы: мне жизненно необходимо было уехать тогда. Без оглядки. Без сбора вещей.

— Почему? Назови истинную причину.

Я беру свою чашку с американо. Керамика обжигаяще горячая, пальцы едва терпят эту температуру, но мне нужен этот физический маркер реальности, чтобы не поплыть, чтобы удержаться на поверхности разговора хотя бы за счёт боли в кончиках пальцев.

— Потому что я поймала себя на том, что начинаю зачёр-

кивать дни в календаре в ожидании твоих звонков из Мадрида.

Тишина вокруг нас становится почти осязаемой, звенящей, будто весь зал кофейни на секунду затаил дыхание вместе со мной. Марко замирает, его взгляд становится глубже, вбирая в себя каждую тень на моём лице, каждую микротрещину на моей маске, будто он читает меня построчно. Он не спешит с ответом, давая моему признанию осесть на самое дно нашего диалога, как тяжёлый осадок оседает на дно чашки.

— И с каких пор это стало преступлением, Ева? — его голос падает до ровного, низкого баритона. — Ждать звонка от человека, который...

— Для моей системы координат это не просто преступление, это смертный приговор, — перебиваю я, чувствуя, как рёбра снова отзываются резкой болью от нехватки воздуха, будто грудная клетка сжалась в тиски. — Это начало необратимого распада.

— Почему ты так панически боишься этого?

Вот на этой черте мне следует немедленно запустить протокол экстренного торможения. Выдать дежурную циничную шутку, перевести разговор на специфику строительного рынка Флориды, встать и уйти, в конце концов, у меня в арсенале десятки способов свернуть этот разговор в безопасное русло. Но радиация его присутствия уже пробилась свинцовую обшивку моего контроля, просочилась сквозь все из-

вестные мне защитные слои. Я делаю шаг в бездну, отключая тормоза, будто кто-то другой сейчас говорит моим голосом:

— Потому что в ту секунду, когда ты начинаешь искренне чего-то ждать, ты автоматически признаёшь свою тотальную зависимость от внешнего источника. А то, от чего ты зависишь, рано или поздно у тебя отнимут. Это базовый закон человеческой термодинамики. Всё стремится к хаосу и потере. А я... я органически не умею терять те вещи, которые успели пустить в меня корни. Я просто не... — я резко обрываю фразу на полуслове, с ужасом понимая, что выдаю слишком много критической информации. Слишком обнажаю нерв, оставляю его открытым на всеобщее обозрение.

Марко молчит. Он проявляет высшую степень психологического такта, которая пугает меня больше всего: он не торжествует, не подхватывает мою оговорку жадно, как поступил бы менее умный мужчина, не пытается додавить раненого зверя, пока тот открыт для удара. Он просто сидит напротив и бережно держит эту паузу, позволяя мне собраться с силами и восстановить дыхание, будто одалживает мне немного собственного спокойствия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.